

Мурзилка
Мальцев

ГОЛОС
ИЗ
НИЧТО



*Сергей
Мамлеев*

**ГОЛОС
ИЗ
НИЧТО**



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

1991

ББК 84Р7—4

М22

Художник В. ГОРИН

Мамлеев Ю. В.

М22 **Голос из ничто: Рассказы.— М.: Моск. рабочий, 1991.— 140 с.**

Юрий Мамлеев вплоть до настоящего времени не был известен широкому советскому читателю, так как в годы застоя вынужден был эмигрировать из-за невозможности издаваться на родине. Последнее время рассказы Ю. Мамлеева появились в нашей периодике. Предлагаемый читателю сборник рассказов переносит нас в необычный, но в то же время до боли знакомый мир.

Проза писателя построена на столкновении противоречивых начал в человеке. Внутренний тайный мир человеческой души обнажен и проявлен до такой степени, что определяет поведение и жизнь героев. То, что обычно пытаются скрыть, становится не только явным, но и преобладающим. Такой подход к изображению людей часто связывают с именем Гоголя, и особенно Достоевского. Но герои этих рассказов в своих психологических безднах и конфликтах целиком принадлежат современному миру, если даже их мучают вечные «проклятые» вопросы.

М $\frac{4762010201-094}{M172(03)-91}$ 104—91

ББК 84Р7—4

ISBN 5—239—01233—4

© Ю. В. Мамлеев, 1991

ЮРИЙ МАМЛЕЕВ

Я родился в Москве в 1931 году. После окончания лесотехнического института (московского) преподавал математику в вечерних школах. Но моя истинная жизнь протекала в мире неофициальной литературы. Я писал прозу (рассказы, романы), но она распространялась только через самиздат.

В 1975 году мы уехали в США, так как не было никакой возможности для меня, как и для многих других, реализовать себя как писателя. Бюрократические запреты касались самых разных направлений, включая сюрреализм.

В США я преподавал русскую литературу, там вышли книги на английском и русском языках. В 1983 году мы переехали в Париж, и там вышли книги на французском языке, продолжались публикации как на русском, так и на других европейских языках. Я стал членом французского Пен-клуба (международная организация писателей).

На Западе мои произведения относили к традиции Достоевского и Гоголя. Вместе с тем отмечали и сюрреалистические мотивы в моей прозе.

Моей сверхзадачей в творчестве было раскрытие тех внутренних бездн, которые таятся в душе человека.

Человек (в так называемой «обыденной» жизни) может не замечать их, но они рано или поздно проявляются — и в его поведении, и в его духовной жизни, и в его «подсознательных» страхах и надеждах. Если выразить все эти бездны через поведение героев, то, наверное, получится то, что Достоевский называл «фантастическим реализмом» (т. е. все-таки реализмом, ибо что может существовать вне реальности?).

Я буду счастлив, если наконец ранее «запретная» проза русских писателей станет общим достоянием.

РАННИЕ РАССКАЗЫ

Счастье

Деревушка Блюднево затерялась на окраине Подмосковья между запутанными шоссе, железной дорогой и заводскими городишками. Народец здесь живет богато, по-серьезному: в каждом доме пропасть еды, подушки, чарки и телевизор. Некоторые покупают даже толстые книги. Жизнь идет спокойная, размеренная, как мысли восточных деспотов. Иногда только для увеселения молодежь колотит кого попало или увлекается мотоциклами.

Все земные блага сошли на Блюднево, потому что обитателям, учитывая местную древнюю традицию, разрешено заниматься художественным промыслом: делать и продавать замысловатых деревянных бабок, лошадей, волков. Кроме того, есть возможность поворывать.

Жизнь здесь настолько сыта и успокоена, что некоторые жители даже спят после обеда. Часа в два-три дня деревенька до того притихает, как будто весь народец уходит на время передохнуть на тот свет. Порой, правда, по улице прошмыгнет какой-нибудь козлик или ретивый мальчишка, играющий сам с собой.

Лишь у ветхого одинокого ларечка, где продаются конфеты, водка и сапоги, за низеньким дощатым столиком, рядом с Божьей травкой, сидят за пивом непонятного приготовления двое дружков: один по прозвищу Михайло — толстый, здоровый мужик, необычайно любящий танцевать, особенно с малыми детьми; другой: Гриша — лохматый мужчина с очень отвислой, мамонтовой челюстью и маленькими печально-вопросительными глазками.

После очередного запоя они лечатся пивом, и выражение их лиц трезвое, смиренное.

— Что есть счастье? — вдруг громко спрашивает Гриша.

Михайло смотрит на него, и вся физиономия его расплывается, как от сна. Всего полчаса назад он, отобрав четырех малышей шестилетнего возраста, лихо отплясывал с ними в хороводе, покуда не упал, чуть не раздавив одного из них.

Не получив ответа, Гриша жадно макает свою кудрявую голову в пиво, потом нагибается к Михайле, хлопает его по колену и хрипло говорит:

— Слышь, браток... Почему ты счастлив... Скажи... Корову подарю...

Михайло важно снимает огромную Гришину ручишу с колен и отвечает: «Ты меня не трожь».

Гриша вздыхает.

— Ведь все вроде у меня есть, что у тебя... Корова, четыре бабы, хата с крышей, пчелы... Подумаю так, чево мне яще желать? Ничевошеньки. А автомобиля: ЗИЛ там или грузовик мне и задаром не нужно: тише едешь, дальше будешь... Все у меня есть,— заключает Гриша.

Михайло молчит, утонув в пиве.

— Только мелочное все это, что у меня есть,— продолжает Гриша.— Не по размерам, а просто так, по душе... Мелочное, потому что мысли у меня есть. Оттого и страшно.

— Иди ты,— отвечает Михайло.

— Тоскливо мне чего-то жить, Мишук,— бормочет Гриша, опустив свою квадратную челюсть на стол.

— А чево?

— Да так... Тяжело все... Люди везде, комары... Опять же ночи... Облака... Очень скушно мне вставать по утрам... Руки... Сердце...

— Плохое это,— мычит Михайло.

Напившись пива, он становится разговорчивей, но так и не поднимая полностью завесы над своей великой тайной — тайной счастья. Лишь жирное, прыщеватое лицо его сияет, как масляное солнышко.

— К бабе, к примеру, подход нужен,— поучает он; накрошив хлеба в рот,— баба, она не корова, хоть и пузо у нее мягкое... Ее с замыслом выбирать нужно... К примеру, у меня есть девки на все случаи: одна, с которой я сплю завсегда после грозы, другая лунная (при луне, значит), с третьей — я только после баньки... Вот так.

Михайло совсем растаял от счастья и опять утонул в пиве.

— А меня все это не шевелит,— рассуждает Гриша.— Я и сам все это знаю.

— Счастье — это довольство... И чтоб никаких мыслей,— наконец проговаривается Михайло.

— Вот мыслей-то я и боюсь,— обрадовался Гриша.— Завсегда они у меня скачут. Удержу нет. И откуда только они появляются. Намедни совсем веселый был. Хотя и дочка кипятком обварилась. Шел себе просто по дороге, свистел. И увидел елочку, махонькую такую, облеванную... И так чего-то пужливо мне стало, пужливо... Или вот когда просто мысль появляется... Все ничего, ничего, пусто и вдруг — бац! — мысль... Боязно очень. Особенно о себе боюсь думать.

— Ишь ты... О себе — оно иной раз бывает самое приятное думать,— скалится Михайло, поглаживая себя по животу.

В деревушке, как в лесу, не слышно не единого непристойного звука. Все спит. Лишь вдали, поводя бедрами, выходит посмотреть на тучки упитанная дева, Тамарочка.

— В секту пойду,— бросив волосы на нос, произносит Гриша.

Михайло возмущается.

— Не по-научному так,— увещевает он.— Не по-научному. Ты в Москву поезжай. Или за границу. Там, говорят, профессора мозги кастрируют.

— Ух ты,— цепенеет Гриша.

— Ножами,— важничает Михайло.— В городах таких, как ты, много. У которых — мысли. Так им, по их прошению, почти все мозги вырезают. Профессора. Так, говорят, люди к этим профессорам валом валят. Очереди. Давка. Мордобой. Ты на всякий случай свинины прихвати. Для взятки.

— Ишь до чего дошло,— мечтательно умиляется Гриша.— Прогресс.

— То-то. Это тебе не секта,— строго повторяет Михайло.

Гриша задумывается. Его глазки совсем растапливаются от печали, и он вдруг начинает по-слоновьи подсюсюкивать что-то полублатное, полудетское.

— Все-таки нехорошо так, по-научному. Ножами,— говорит он.— Лучше в секту пойду. Благообразнее как-то. По-духовному.

Михайло махает рукой и отворачивается от него.

Висельник

Николай Савельич Ублюдов, впечатлительный, толстозадый мужчина с бегающе-замученным взглядом, решил повеситься. К этому решению он пришел после того, как жена отказала ему в четвертинке. Матерясь, расшвыривая тарелки и кастрюльки, он полез на стоя, чтобы приделать петлю. Кончать в полном смысле этого слова он не хотел: цель была лишь припугнуть жену.

Закрепив веревку к своему воротнику, повернувшись лицом к двери и чуть запрятав ножки за самовар, он сделал видимость самоубийства, как бы повиснув над столом. Глазки свои Николай Савельич умиленно прикрыл, ручки сложил на животике и принялся мечтать. От жалости к себе он даже немножко помочился в штаны, часто нервно вздрагивая и открывая глазки: а вдруг он на самом деле повесился?

Летний зной гудел в комнате, было очень жарко, и Николай Савельич иной раз приподнимал рубашку, дабы отереть пот с жирных боков. Ждать нужно было неопределенно: жена могла прийти из магазина вот-вот, могла и застрять часика на два-три. Николай Савельич, мысленно фыркая, иногда доставал из кармана брюк бутылку пивка, чтобы промочить горло. Под конец он немножко даже вздремнул.

Во время сна он особенно много обливался потом, и ему казалось, что это стекают с головы его мысли. И еще ему казалось, что у него, толстого и здорового мужчины, очень слабое и женственное сердце.

Очнулся Николай Савельич оттого, что ему взгрустнулось. Как раз в эту минуту, еле успел Николай Савельич замереть, в комнату всунулась физиономия соседа — Севрюгина.

Севрюгин был существо с очень грустным выражением челюсти и тупым взглядом. Первое, что пришло ему в голову, когда он увидел повешенного Ублюдова,— надо красть. Он одним движением юркнул в

комнату, прикрыл дверь и полез в шкаф. Вид же «мертвого» Ублюдова его не удивил. «Мало ли чего в жизни бывает»,— подумал он.

Простыню и два пододеяльника Севрюгин запихал себе в штаны. «Не всякий знает, что у меня тощий зад»,—уверенно промышчал он про себя. Работал Севрюгин деловито, уверенно, как рубят дрова: раскидывал скатерти, рубашки, пробираясь своими огромными, железными ручищами к чему-нибудь маленькому, ценному. Изредка он матерился, но матерился здраво, обрывисто, без лишних слов.

Николай Савельич струхнул. «Лучше смолчу, а то прибьет,— подумал он.— Ишь какая он горилла и небось по ножу в кармане». Все происходящее показалось ему кошмаром.

«Хотел повеситься, а вон-те куда зашло,— опасливо размышлял он, осторожно переминаясь с ноги на ногу.— Только бы по заду ножом не тяпнул и убирался бы поскорей, придурочный. Как хорошо все-таки, что я не повесился,— умилился Николай Савельич.— Ишь сердце екает... Хорошо... Сейчас бы четвертинку». В это время Севрюгин, набив себя барахлом, подошел к Ублюдову. «Небось уже гниет»,—тупо подумал он, оскалив зубы. Ублюдов притих и боялся задрожать. Обычно грязно-тупые глаза Севрюгина искрились тяжелым веселием. Он осматривал Николая Савельича. «Ишь, пивко!»—вдруг гаркнул Севрюгин. И, не зная сомнений, схватил высывающуюся из кармана Ублюдова бутылку.

Но тут Николай Савельич не выдержал. Инстинктивно он лягнул ногой врага... Что тут поднялось! От страха, что он съездил по Севрюгину, Ублюдов дико завизжал и рванулся, чтоб спрятаться. Оборвалась ненадежная веревка. Севрюгин же ахнул и поднял руки вверх.

— Помилуй, Николай Савельич, не казни!— заорал он.

Ублюдов между тем упал на пол и, желая улизнуть, полез сам не зная куда. «Только бы тело мое жирное не унес,— вертелось у него в голове.— А с простынями, черт с ними».

На гвалт сбежались соседи. От страха и от желания исчезнуть Севрюгин совсем обомлел.

— Швыряются!— кричал он, размахивая большими

ми руками.— Пугают... Симулянт!.. По морде бьет... Вешается.

Ублюдов же, неуклюже застрявший где-то под стулом, хрипло кричал:

— Не матерись... Людоед... Хайло... Ножи-то куда запрятал?

Очень маленькая, задумчивая старушонка вдруг понеслась бегом из комнаты. Через минуту она вернулась с чайником и, уютно усевшись на кровати, подпершись, стала пить чай вприкуску.

Особенно поразила всех нависшая с потолка веревка с оборванной рубахой. Какой-то физик высказал предположение, что это, дескать, массовая галлюцинация. Ему чуть не набили морду. Воспользовавшись криком, Севрюгин распахивал по комоду простыни. Обомлевший Ублюдов попросил у старушки чайку. Между тем вернулась жена Ублюдова.

— Засудят твое мужика, засудят,— орала на нес толстая соседка.— Будешь целый год без палки ходить... Ишь шуму наделал!

— К психиатру ево, к психиатру,— галдели вокруг.

— Пошли вон. Я сам себе психиатр! — гаркнул Ублюдов.

Ему стало страшно жаль себя, и он чуть было не расплакался. Его утешило только то, что огромный живот его был такой же довольный, как и прежде.

Ублюдова присудили — условно — к одному году исправительно-трудовых работ за нарушение общественного порядка и хулиганство. Но только жене он открыл свою душу.

— Врешь ты все, обормот,— ответила она ему.— Так я и поверила, что ты из-за четвертинки... Цельные десять лет пил... И вдруг... На девок небось заглядываться стал, дубина... Оттого и в петлю.

Душевнобольные будущего

В кабинете психиатрической клиники 500 года от нашего с вами рождения, читатель, стоял довольно полный, лысенький субъект лет тридцати пяти с умеренным, геометрическим брюшком. По тому востор-

женному жужжанию, которое издавала кучка врачей, окружавшая человека, было видно, что последний не совсем обычный фрукт.

— Безнадежен... Мы тут бессильны,— махнул рукой один старичок и выпрыгнул в окошко.

— Скажите, больной,— томно обратилась к Горрилову (такова была фамилия пациента) молодая, сверхизнеженная девица-врач.— Вы что, действительно никогда не были в бреду?

— Никогда,— трусливо оглядываясь на врачей, пробормотал Горрилов.

— Больной, вы думаете или нет, когда отвечаете? — в упор сверляще-пронизывающим взглядом смотрел на него другой, несколько суровый психиатр.

— Не был, ни разу не был... Все равно пропадать...— твердил Горрилов.

— Какой ужас! Этот человек ни разу не был в бреду! Вы слышали что-нибудь подобное?! — заголосили вокруг.

После таких слов Горрилов почувствовал себя совершенно ненормальным и отрешенным от людей.

«И ведь действительно я ни разу не бредил; даже ни разу не воображал себя пастушком, как все нормальные люди,— подумал он и вытер ладонью пот.— Боже, какой же я выродок и как я одинок!»

— Больной,— высунулась опять сверхизнеженная девица-врач,— скажите, но на самоубийство-то вы, надеюсь, хоть раз пять покушались?..

— Нет, и мыслей даже таких не было.

Шорох ужаса прошел по психиатрам. Кто-то даже сочувственно всплакнул.

— Один вопрос,— вмешался вдруг толстый, погрязший в солидность и, видимо, много передумавший врач.— Это-то у вас непременно должно быть... Вы же человек все-таки, черт вас возьми... Скажите, по ночам, после вихря полового акта, у вас не возникало желание слизнуть глаза своей партнерше? — и доктор хитро подмигнул Горрилову.

Горрилов напряг свою память, выпучил глаза и с ужасом выпустил из себя одну и ту же стереотипную фразу: «Нет!»

— Ну все ясно, мои тихие коллеги,— проговорил врач.— Горрилов абсолютно невменяем. Надо его изолировать.

— Одну минуту,— влез, пыхтя от нетерпения, еще один доктор.— Уж больно интересный психоз,— добавил он, оглядывая больного, как подопытного шимпанзе, добрыми глазами ученого-экспериментатора.— Горрилов, опишите снова подробнее свое хроническое состояние невменяемости.

— Пожалуйста. Встаю утром, точно в девять часов, умываюсь, ем, стихи не читаю и никогда не читал; потом тянет работать; работаю, потому что есть в этом потребность и хочется заработать побольше; прихожу с работы, обедаю, покупаю какую-нибудь вещь и иду с женой — танцевать... Сплю. Вот и все.

В воздухе раздавались возбужденные крики...

— И вы подумайте, ни одного бредового нюанса... Никаких стремлений на тот свет... Какое тяжелое помешательство... Вы слышали, этот тип никогда не читал стихов... Уберите его, он нас доведет!

Но дюжие санитары-роботы уже выволакивали сопротивляющегося Горрилова.

— Ах, он сегодня мне приснится,— рыдала сверхизнеженная девица-врач.— Какой кошмар... Мне и так каждую ночь кажется, что меня загоняют в XX век!

— Ужас, ужас... Сенсационно,— проносились голоса по дальним призрачным коридорам.

А Горрилова между тем уносил далеко не похожий на наши автомобиль новой эры. Он мчал его к сумасшедшему дому. Сквозь то, что мы назвали бы окном, Горрилов мрачно смотрел на окружающие виды. Автомобиль катился относительно медленно, чтобы Горрилов мог видеть окружающий нормальный мир и впитывать естественные впечатления.

На высоких деревьях покачивались скрюченные люди: то были наркоманы. Они приняли особые вещества, вызывающие эротокосмические потоки бреда. Единственным минусом этих наркотиков являлось то, что они вызывали неудержимое желание вскочить куда-нибудь повыше... Горрилов видел чудесные бредущие, светящиеся голубым фигуры людей. По их виду было понятно, что они разговаривают сами с собой в солипсическом экстазе. Собаки и те были вполне инфернальны — чуждались даже кошек.

«Только мне недоступно все это,— злобно думал Горрилов.— Какое это несчастье быть нормальным». Он прослезился от жалости к себе. «Да и слезы у ме-

ня какие-то соленые, грубые, как в пещерные времена,— тупо сопя, подумал он,— не то что у той девицы-врача... У нее они какие-то небесно-голубые, эстетные, как светлячки... И тело у меня дефективное, с мускулами»,— и он посмотрел в окно. У нормальных людей были изнеженные тела, глубокие глаза поэтов и лбы мудрецов. «Хорошо бы выспаться,— наконец решил Горрилов.— Потом поработать, смастерить чего-нибудь, купить костюм». Но тут же капельки пота выступили на его круглом, энергичном лице:

— Боже, о чем я думаю.. Я опять схожу с ума.

Он посмотрел на своего водителя: «Даже он бредит».

Водитель действительно разговаривал с духом своего далекого предка — Льва Толстого и укорял его за неразвитость. Горрилову страстно захотелось совершить какой-нибудь нормальный, оправданный поступок. Но, кроме того, чтобы снять штаны, он ничего не мог придумать. «Какое я все-таки ничтожество»,— устыдился он самого себя.

Они проехали мимо тюрьмы, где помещались те, кого в XX веке называли техническими интеллигентами. Эти бездушные, тупые существа, не знающие, как заправская электронная машина, ничего, кроме формальных схем, сохранялись только для работы на благо изнеженных духовидцев, эстетов и мечтателей.

Наконец, автомобиль подъехал к известному почти во все времена зданию. Горрилова изолировали в довольно мрачную неприглядную комнату. Ее стены были увешаны абстрактно-шизофреническими картинами, чтобы способствовать излечению больного. Но напротив была комната еще хлеще: она была оцеплена токами и скорее походила на камеру.

Там находился последний человек, утверждающий, что дважды два четыре. До такого не докатился даже Горрилов.

Неприятная история

Доктор педагогических наук Анна Карловна Мускина, одинокая женщина лет пятидесяти, отличалась тем, что необычайно любила поесть. Говорили даже, что за утренним чаем она съедает целый батон хлеба. Работала она психологом и консультировала целую

сеть детских психиатрических больниц. Зарабатывала она массу денег, рублей пятьсот — шестьсот в месяц, которые почти все бросала на еду.

Вторым замечательным качеством, которым она обладала, был ум. Это признавали все знакомые с ней, даже самые глупые и тупые.

Одним неприметным утром Анна Карловна, как всегда, выехала на работу. По причине своей парадоксальной толщины и отсутствию практической стороны ума (Анна Карловна любила только теорию) она никогда не ездила в автобусах и прочем общественном транспорте. Поэтому ровно в 8 часов 30 минут утра к ее дому подъезжал персональный автомобиль с вечно пьяненьким, лохматым шофером.

На сей раз первая остановка была в невропатологическом санатории. Только Анна Карловна вылезла из машины, как к ней подскочила кандидат наук Свищева. Видно, кандидатка готовилась к чему-то и лицо ее горело.

— Простите, Анна Карловна, — выпалила она, — вы профессор, а ходите в таком рваном пальто... Неудобно...

В ответ Анне Карловне захотелось поцеловать Свищеву.

— Милая вы моя, я страсть как не люблю одеваться, — ответила она. — Если хотите, купите мне сами пальто, я дам вам денег...

И, сунув пачку десятирублевых бумажек в руки Свищевой, Анна Карловна покойненько покатилась вперед.

В приемной она первым делом передала для себя на дневные завтраки в столовую целый куль еды и четыре пачки чаю, три из которых нянечки с великой радостью присвоили себе.

Затем Анна Карловна прошла в свой кабинет, и началась ее умственная деятельность. Она прочла ряд историй болезней и вызвала к себе врача.

— Алчность к еде есть? — строго спросила она его, указывая на помятую историю болезни.

— Нет, здесь нет, — выдавил из себя врач.

— Удивительно, — изумилась Анна Карловна и вызвала другого врача.

— Алчность к еде есть? — также в упор спросила она его, показывая другую карточку.

— Есть,— ответил тот.

— Замечательно,— провозгласила Анна Карловна.

«Этот больной обязательно выздоровит,— шепнула она самой себе.— В нем есть положительное ядро». И Анна Карловна подписала под графой «прогноз» слово: благоприятный.

В одиннадцать часов началась научная конференция. Анна Карловна почти ничего не слышала, что говорили выступающие, потому что была занята своим животом. Он казался ей живым существом, жирным и теплым, необычайно родным, как прилепившийся к телу пухлый ребенок. Она шевелила его, слегка покачивала, и от удовольствия изо рта ее текли слюни.

Ее отвлекло только, когда кто-то из врачей громко икнул. Это показалось ей чудным, необычным и оскорбительным. Чтобы отойти, она стала прислушиваться к научным речам.

— Все же он удивительно глуп,— решила Анна Карловна относительно выступавшего старичка.— Просто на редкость глуп... И почему он шлепает всем диагноз: «идиотизм»... Это же надо: двух психопатов и одного неврастеника вывести в олигофрены...

Чем больше она слушала старичка, склонного подозревать всех в идиотизме, тем более самодовольной становилась.

«По существу, если бы я не тратила столько ума на еду, я вышла бы в мировые ученые»,— подумала она.

А вскоре Анна Карловна уже сидела в небольшой комнатке — закутке, зажатом между уборной и изолятором для особо нервных. Туда нянечки из столовой уже принесли ее дневной завтрак: четыре стакана горячего чая, полкило колбасы, батон и курицу. Анна Карловна тут же тихонько заперлась на ключ.

Надо сказать, что, будучи очень простой почти во всех отношениях (на ученый совет она не раз являлась в галошах), в смысле еды Анна Карловна была очень горда и самолюбива. Иными словами, она никому не желала признаваться, что любит много и серьезно поесть; и чем интимнее она любила есть, тем более она стремилась это скрыть. По отсутствию практической стороны ума она полагала, что почти никто не знает об этом ее влечении, особенно среди интеллигенции, а нянечек она за людей не считала.

Итак, наглухо запершись в закутке, она приступила к трапезе. Первым делом Анна Карловна жадно схватила за ноги курицу и стала ее кусать между ног. При этом ей показалось, что курица чуть-чуть живая и тарашится.

Набрав в рот как можно больше курятины и отложив остальное, она откинулась на спинку стула и начала сладостно проглатывать пищу, причем по мере продвижения еды вниз выражение ее лица все время менялось, пока не стало совсем блаженным и добрым, как у праведницы... Вспотев от радости, она продолжала в том же духе.

В два часа дня Анна Карловна уже была на второй очень серьезной научной конференции, куда пускали только по пропускам... Обедать домой ее отвез все тот же, но еще больше пьяненький шофер... Опустившись в кресло и радостно ощущая себя пухлой будкой, она собиралась было нежно вздремнуть после обеда, как вдруг почувствовала звериную боль в животе. Не успев как следует ужаснуться, Анна Карловна потеряла сознание...

Очнувшись она в своей постели, окруженная домработницей и двумя соседками... Но боль все еще не проходила... Отпустив соседей, она стала размышлять, в чем дело.

«Наверняка у меня заворот кишок,— решила Анна Карловна.— Объелась».

Вдруг она покраснела и перевернулась на другой бок.

«Как же я об этом скажу,— испугалась она.— Будут смеяться... Если заворот — все догадаются: объелась...»

Анна Карловна приняла болеутоляющее.

— Когда вызвать врача, сегодня? — спросила ее домработница.

— Нет, завтра,— оттянула Анна Карловна.

Весь вечер, ночь и утро прошли в том, что Анна Карловна, лежа в постели, чувствуя немного приглушенную и уже привычную боль, то подремывала, то думала, но думала о чем-то совершенно постороннем. То принималась считать тени на потолке, то раздумывала, сколько она будет весить в восемьдесят лет. И в то же время чувствовала какую-то моральную неполноценность и даже конфуз оттого, что у нее заво-

рот кишок. И только часа за два до прихода доктора Анна Карловна реально и с хватающей за сердце ясностью подумала о том, о чем, разумеется, знала уже сначала: если она не скажет про заворот кишок и ее не оперируют, то она неминуемо за два-три дня умрет... Но параллельно с этой безошибочной мыслью какой-то нелепый внутренний голос взвизгнул в ней решительно и бойко: «Обойдусь! Проскочу! Только бы молчать».

Сначала было она испугалась и шикнула на этот голос: «Как это обойдусь... Глупость-то какая!»

Но голосок еще настойчивей взвизгнул: «Обойдусь!»

Анна Карловна оторопела и совсем задумалась. Но по ходу своих рассуждений она все более и более чувствовала, что ни за что на свете не хочет признаваться, что объелась. До того не хочет, что от страха перед разоблачением стала выглядеть совсем растерянной и полоумной. Поэтому, когда пришел врач, Анна Карловна позабыла, что обязательно умрет, если скроет, а думала только о том, как бы непроговориться, и сослалась на гипертонию. Обманутый врач быстро ушел.

И Анна Карловна опять осталась одна, в одиночестве своего живота, мыслей о себе и веселой туповатой домработницы.

Прошло еще несколько часов.

«Сказать или не сказать?!» Анна Карловна пересчитала все тени на стене, почему-то раза два плюнула на пол. Постепенно она стала делать попытки решить, что сказать все-таки нужно. «Ведь если не скажешь, умрешь,— тоскливо подумала она.— А если скажешь — выживешь, все так просто и логично», — заключила она, недаром одной из замечательных особенностей Анны Карловны был ум.

Но сколько бы попыток принять положительное решение она ни предпринимала, все они упирались в ее чувство. Она сама толком не могла понять это чувство; оно выражалось только упорным и тягучим: «Не хочу!»

Стараясь уяснить его перед собой, она пришла к тому, что не хочет себя раскрыть из-за того, что тогда вылезет на свет, на глаза людей, ее «бука», что-то родное и глубокое, свое, что никому нельзя показать,

что делает ее — ей. И вообще она вся обнаружится, как препарированная лягушка.

Но было во всем этом еще что-то, что она не могла выразить даже перед собой. Это было нечто тайное, дурашливое и алогическое, но очень бодрое, хотя и направленное против всей формы жизни, как таковой.

На следующий день она на все махнула рукой и просто плыла по течению.

Приходил еще какой-то врач, но и ему она заявила, что у нее гипертония, и не дала себя осматривать...

Иногда, несмотря на боль, ей становилось нестерпимо весело. «Да кто это сказал, что я умру,— загоралась она.— Ну, положим, во всех медицинских книжках так написано... Но мало ли чего в книжках пишут...»

Но даже в обычные моменты, когда веселье не посещало ее, некое страстное чувство не допускало мысль о смерти до глубины сознания и эта мысль витала где-то на поверхности, как будто речь шла о том, что умрет не Анна Карловна, а кто-то другой. Единственно ее смущало то, что она лишилась такого удовольствия, как еда, и она пыталась компенсировать это тем, что стала усиленно думать...

Иногда Анна Карловна впадала в какое-то совсем сумеречное и фантастическое состояние и тогда строила проекты, как она будет дальше жить, если заворот кишок вдруг сам по себе не доведет ее до смерти, а есть она не сможет...

Никто, за редким исключением, к ней не приходил, и она чувствовала себя страшно одиноко. «Хорошо бы живот отделился от меня и жил сам по себе,— думала Анна Карловна.— Он был бы моим хорошим знакомым, собеседником, обедал бы в кресле, спал в шкафу».

В два часа пришла Свищева и принесла обещанное пальто. После ее ухода Анне Карловне пришла в голову шальная мысль, что она была бы весьма красива в этом пальто.

Она заставила домработницу помочь ей одеться и поставить в ногах на кровати большое зеркало.

«Как бы ни была я умна,— решила Анна Карловна,— все равно не мешает быть красивой».

Вообще ее воображение разгулялось, как никогда, и рисовало картину одну веселей другой.

Потом она опять впала в сумеречное состояние, и мысли потекли пустые, далекие, странные, ни к чему не относящиеся...

В пять часов, когда Анна Карловна забылась, снова пришли врачи.

Они осмотрели ее тело и сразу увидели темное, зловещее пятно на животе. Это была гангрена, часть вывернутой кишки сгнивала. Тотчас вызвали «скорую помощь» и Анну Карловну повезли в больницу на операционный стол; по дороге она скончалась.

Только бы выжить

Домишко, о котором идет речь, расположен по Пичезадумчивому переулку, во дворе. Его давно пора снести, ан нет — он держится. На второй этаж ведет лестница с шизофреническими углами и провалами. В квартирке под седьмым номером двадцатый год живут четыре семейства. У каждого из них свои привычки, психопатии, выкрики; если бы описать все их многолетние отношения, то получился бы длинный роман наподобие «Войны и мира», но с психоанализом, чертовщиной, мордобитием и одиноким заглядыванием в самого себя. Но мы опишем лишь один день.

Утро начинается здесь с того, что одинокая старушка — Пантелеевна выходит умываться. Хотя в кухне никого нет, но она входит туда бочком, предусмотрительно повернувшись задом к окружающему пустому пространству. Когда же появляется народ, то она почти совсем встает на четвереньки, так что квартирантам виден только ее огромный, в ворохе платьев, зад. Двадцать лет назад она появилась таким образом на кухне.

— Не пугайте, мамаша, обернитесь, — сказал ей тогда громадный, лысый инвалид-сосед.

Мамаша спокойно и плавно, как лебедь, обернулась и вымолвила:

— А вы, граждане и лиходен, иное, чем мой зад, и не достойны зреть. Личико мое вы никогда не увидите.

И опять спряталась.

С тех пор, на долгие годы, она замолкла перед соседями и во все общественные места входила, пятясь задом к окружающему люду.

Теперь ей уже восемьдесят лет, она стала выгнутая, иссохшая, позабыла все слова, кроме детских, но ритуал свой исполняет так же вдохновенно и напористо, только кряхтя и опираясь на клюку. Все к этому привыкли, и один раз был даже скандал, когда Пантелеевна по простуде позвоночника не повернулась к соседям задницей...

Вслед за Пантелеевной в кухню выпрыгивает шестидесятилетняя пенсионерка Сонечка. Завидев старухин зад, она фыркает: Сонечка — единственная из обитателей, кто до сих пор не признает права Пантелеевны.

— Я Льва Толстого, елки-палки, каждую ночь читаю,— часто орет она поутру, стуча кастрюлей по плитке.— Я вам не Наташа Ростова... Запахами тут издеваться...

Огромный, лысый инвалид успокаивает ее, лапая своими чудовищными руками. Вскоре вылезает и его молодая, увесистая жена. От томительных, многолетних злоупотреблений половой жизнью у нее мертвая пустота под глазами и голодный, опустошенный взгляд, как у облученной кошки. Оба они с мужем эротоманы. И врачи в один голос говорят, что это кончится только с их смертью.

Последним на кухню втискивается Кузьма Ануфриевич Пугаев, солидный отец семейства в составе равнодушной, хлопающей себя по лбу жены и жирной, откормленной тринадцатилетней дочки. О его-то состоянии сегодня и пойдет речь. Суть в том, что месяц назад в мозгу Кузьмы Ануфриевича засела стойкая, богатая, с метастазами мысль: «только бы выжить». Это пришло ему в голову после того, как он увидел на улице, что широкий, с окно, лист стекла, упавший с пятого этажа, разрезал пополам дюжего дядю с орденами.

Пугаев тогда страшно затерялся, струсил и бегом, оглядываясь на облачка, пустился к первому попавшемуся трамваю. С течением времени эта идея: «только бы выжить» — разрослась у него и нашла применение ко всему миру в целом, во всех его деталях и нюансах. Сначала он даже испугал свою равнодуш-

ную, вечно хлопающую себя по лбу жену тем, что часто, ни к селу ни к городу, стал повторять: «только бы выжить!» Пойдет в уборную, обернется и скажет, трусливо так, переморщено: «только бы выжить!»

Все окружающее у него стало поводом к этой идее. Обволок он ею и свою дочку. Насильно кормил ее мясом, салом и шупал, раздулся ли у нее живот.

— То-то, дочка,— приговаривал он,— самое главное, выжить.. Бойся мальчишек, двора и воздуха. Лучше всего бывает под одеялом.

Дочка надувается его мыслями, как молоком, и уже часто не ходит, а пробегает мимо людей на улице. Но жена мало реагирует на его духовные поиски. За это он иной раз бьет ее, но, от инертного умиления, оставшегося от первых лет любви, считает все же, что она понимает его... Сегодня Пугаев вышел на кухню голый, в одних трусиках. Это от озабоченности. Ведь дочка уезжает в санаторий.

Сонечка вспыхивает и выкатывается к себе, запершись на ключ. Из-за тонких стен доносится ее голос: «Хулиганье!.. Толстого надо читать. Толстозады!» Лысый инвалид удивляется про себя, почему живот у голого мужчины бывает так похож на женский. «Пощупать бы его»,— медленно думает он, опустив чайник на пол.

Только Пантелеевна, кряхтя, пробирается мимо всех, задевая задницей живот Пугаева...

Наконец Кузьма Ануфриевич, одетый, выводит дочку за руку во двор. Все смотрят на него из окон.

Он положил свою тяжелую руку на голову девочки и тихо внушает: «Едешь ты, дочка, в санаторий... И запомни: живьем не давайся. Чуть что — бей в морду... Или жалуйся. Потому что самое главное — выжить».

Улет

«Существую я или не существую?!» — взвизгнул невзрачный, но одухотворенный человечек лет тридцати пяти и по-заячьи нервно заходил по комнате. От умственного шныряния вены на лбу у него вздулись. «Вроде существую»,— пискнул он, хлопнув себя по заднице. Потом подошел к шкафу и с плотоядным наслаждением, трясаясь, выпил мутную брусничную

воду из грязной чашки. Минуты две улыбался, а потом вдруг опять вспыхнул: «И в то же время не существую!» И пнул ногой угрюменький чайник. Потом Анатолий Борисович (так звали героя) выскочил в коридор.

— Хамье, перед глазами снуете! — прикрикнул он на соседей, которые боялись Анатолия Борисовича за его робость.

Ему вдруг захотелось завернуться в одеяло и долго, комком, кататься по полу. «Какой-то я стал воздушный и как будто все время улетаю», — подумал Анатолий Борисович.

— Побольше реальности, побольше реальности! — провизжал он вслух себе, соседям и кому-то Неизвестному.

Последнее время что-то в нем надломилось. Это уже был не тот Анатолий Борисович, который мог бороться и быть возвышенным. Ему все стало загадочным. Загадочным и то, что он женился, и то, что ему тридцать пять лет, и то, что он родился в России, и даже то, что над ним висит, куда бы он ни пошел, — небо.

«Определенности никакой нет, — решил он, — и точно меня все время смывает. Как бы совсем не сдуло».

«Странное существо моя дочка, — думал Анатолий Борисович, проходя по темнот-змеиному горлу выходной лестницы. — Бьет меня по морде. А когда я ее бью по заднице — никак не пойму, хорошо мне от этого или плохо?»

Подойдя, вместо двери, к нелепой дыре, ведущей в серое, Анатолий Борисович увидел над ней лампочку.

«Надо бы ее проучить», — подумал он и швырнул туда камень. Лампочка разбилась. «На сколько минут мне будет легче от этого?» — обратился он к своему внутреннему голосу.

Наконец Анатолий Борисович выскочил на улицу. На мгновение ему показалось, что все, что он видит — фикция. «Юк-юк», — довольно пискнул он в ответ. «И все-таки я не существую», — подумал он всем своим существованием и подошел выпить воды. Потом все стало на место.

«Как складывалась до сих пор моя жизнь, — рас-

суждал он, делаясь все незаметней.— Был период — я играл в карты. Тогда я был счастлив. Был период величия. Без него я не прожил бы дальше». Анатолий Борисович ускорил шаг и шел прямо по улице навстречу ветру.

«Улетаю я куда-то, улетаю,— думал он.— О, Господи!»

Мир давил своей бессмысленностью; «это потому, что он меня переплюнул, отсюда и его бессмысленность,— решил он.— Даже столб, неодушевленный предмет, и тот меня переплюнул».

Анатолий Борисович углублялся в город.

Все казалось ему абстрактным: и высокие, уходящие в засознание, линии домов, и гудки машин, и толпы исчезающих людей. А собственная жизнь казалась ему еще худшей, еле видимой, но настоящей абстракцией.

«Реальности никакой не вижу»,— слезливо подумал он и хотел было хлопнуть в ладоши.

Наконец Анатолий Борисович подошел к разномирному зданию своей службы; юркнул мимо толстых тел, за свой стеклянно-будничный столик.

Кругом сновали разухабистые, в мечтах, рожи, трещали машинки, а перед Анатолием Борисовичем лежала груда бумаг. Ему казалось, что все эти бумаги говорят больше, чем он.

Анатолий Борисович подошел к окну.

«А вдруг «сбудется, сбудется»,— закричалось у него в глубине.— Должно «сбыться», должно — не навсегда же таким он создан». Тихонько, растопырив уши, Анатолий Борисович прислушался. Ничего не услышав, сел за столик и почувствовал, что вся его жизнь — как урок геометрии.

«Каждый предметик: стульчик, чернильница — далекий и как теоремка»,— подумал Анатолий Борисович. Все входили, уходили и были за чертой.

Вскоре Анатолий Борисович вышел. И больше уже не приходил. А через месяц следователь Дронин в деле на имя Анатолия Борисовича поставил последнюю и единственную запись: «бесследно исчез» — и захопнул папку.

Исчезновение

— Ты будешь кушать эту подгоревшую кашу? — спросила пожилая, в меру полная женщина своего мужа.

Муж что-то ответил, но она сама стала есть эту кашу. Ее звали Раиса Федоровна.

«Что я буду делать сегодня, как распределю свой день,— подумала она.— Во-первых, пойду за луком».

Она представила себе, как идет за луком, представляла хмурые, знакомые улицы, и говорливых, таинственных баб, и сосульки с крыш — и ей ужасно захотелось пойти за луком, и на душе стало тепло и интересно.

«А потом я вымою посуду и полежу»,— мелькнуло у нее в голове.

— Сына пожалей,— пробормотал ее муж.

Но он очень любил жену и поцеловал ее. На минуту она почувствовала тепло привычных губ.

«Вечно стол не на своем месте»,— решила она и подвинула его влево.

Затем она пошла в уборную и слышала только стук своего сердца. Потом, выйдя на улицу, она встретила своего двенадцатилетнего сына; он шел из школы, кричал и не обратил на нее внимания. Раиса Федоровна, зайдя на рынок, медленно закупала продукты, переходя от лавки к лавке. Около нее ловко суетились, толкая друг друга, покупатели, протягивая свои рубли, оглядывая продукты полупомешанным взглядом.

— Вы опять меня обворовали,— услышала Раиса Федоровна голос и почувствовала, как ее тянут за живую кожу пальто. Тянула соседка.

— Препротивная женщина,— тотчас заговорила, оглядывая Раису Федоровну, толстая старуха в пуховом платке.— Скандалистка. Я жила с ней один год и не выдержала. Прямо по морде сковородкой бьет...

— Ужас,— вторила ей другая.— Я в таких случаях всегда доношу в милицию.

«Как же я распределю теперь свои деньги,— думала Раиса Федоровна, возвращаясь домой.— Тридцать рублей я этой дуре отдам... А сегодня пойду в кино».

В переулке, по которому она шла, было светло и

оживленно и люди напоминали грачей. Но ей почему-то представилось, как она будет ложиться спать и посасывать конфетку, лежа под одеялом.

И еще почему-то она увидела море.

Войдя в квартиру, она услышала голос соседки, доносившийся из кухни:

— Помыть посуду надо — раз; в магазин сходить — два; поест надо — три.

— Мы все ядим, ядим, ядим,— прошамкала живехонькая старушка, юркнувшая с пахучей сковородкой мимо Раисы Федоровны.— Мы все ядим.

— Я уже два часа не ем,— испуганно обернулась к ней белым, призрачным лицом молодая соседка.

— Я Коле говорю,— раздался другой голос,— не целуй ты ее в живот... Опять все у меня кипит.

— Ишь стерва,— буркнул кто-то вслед Раисе Федоровне.

— Почему, она неплохая женщина.

«...Утопить бы кого-нибудь,— подумала Раиса Федоровна.— Ах, чего же мне все-таки поесть... Утку».

И она почувствовала, что на душе опять стало тепло и интересно, как было давеча, когда она представляла себе, как идет за луком. И опять она увидела море.

В углу комнаты ее муж убирал постель. Повертевшись около него, она опять вдруг захотела в уборную. В животе ее что-то глухо заурчало, и жить стало еще интересней. Она ощутила приятную слабость, особенно в ногах.

— Как непонятна жизнь,— подумала она.

Она посмотрела на красный, давно знакомый ей цветок, нарисованный на ковре. И он показался ей таинственным и необъяснимым.

Раиса Федоровна вышла в коридор и вдруг почувствовала сильную боль в сердце; вся грудь наполнилась каким-то жутким, никуда не выходящим воздухом; тело стало отставать от нее, уходить в какую-то пропасть.

В мозгу забились, точно тонущее существо, мысль: «Умираю».

— Умираю!,— нашла она силы взвизгнуть.

В кухне кто-то засмеялся.

— Умираю, умираю! — холодный ужас заставлял ее кричать, срывая пустоту.

В коридор выскочили муж и сын; из кухни высыпали соседи и остановились, с любопытством оглядывая Раису Федоровну. Крик был настолько животен, что во дворе все побросали свои стирки, уборки и подошли к окну.

— Ишь как орет,— пересмеивались в толпе.— Точно ее обсчитали в магазине.

— Да, говорят, умирает,— отвечали другие.

— Если б умирала, так бы не драла глотку,— возразил парень в кепке.

Кто-то даже швырнул в окно камень.

Сынок Раисы Федоровны стоял у другого окна, посматривая на умирающую мать.

«Чего она так кричит,— подумал он.— Ведь теперь меня засмеют во дворе».

...А через несколько дней толстая старуха в пуховом платке, та самая, которая ругала Раису Федоровну на рынке, говорила своей товарке:

— Померла Раиска-то, говорят, так орала, весь двор переполошила.

Борец за счастье

В Москве, среди ровненько-тупых домов-коробочек, в трех-семейной квартирке жил-затерялся холостяк, молодой человек лет двадцати восьми, Сережа Иков. Работал он сонно и хмуρο в каком-то административном учреждении бюрократором, то есть подписывал уже подписанные бумаги. Было это существо лохматое, с первого взгляда даже загадочное, вопрошительное. Был он страшно деловит, но ничего не делал, очень самолюбив, но безответно.

Самое большее, к чему всю жизнь стремился Иков, что составляло единственный, лелеемый предмет его мечтаний, называлось счастьем. За счастье Сережа все был готов отдать. Его странная, не от мира сего, напористость в этом отношении даже отпугивала от него людей. Соседка-старушка, одна из немногих, с кем Сережа делился своими тайнами, в душе считала его слегка ненормальным.

«На кой хрен тебе счастье,— опасливо говорила она ему, кутаясь в платок.— Смотри, Сергунь, как бы беды не было».

«Счастье — это очень много,— говорил Иков.— Но это также то, что делает меня великим». Но оно как-то плохо ему давалось. Хотел жениться — женился, но через год развелся; хотел стать ученым — но стал бюрократом; хотел совершить подвиг — совершил, но оказалось, что в этом не было счастья. Наконец, он на все махнул рукой и стал как бы проходить сквозь события.

«Вроде деловой, а ничего не делает,— пугалась соседка-старушка.— Делает — а все себе на уме».

Но прежних своих стремлений к счастью Иков не оставлял. Однако из-за вечности неудач они приобрели некий потусторонний характер. Однажды он повесил в своей комнате огромную репродукцию Шишкина. «Светится она на меня,— подумал он.— Вроде я теперь и велик и счастлив».

Неизвестно, как бы дальше продолжалось его развитие, если бы, года три назад, не произошел в его жизни переворот. Случайно он открыл ключи к счастью. Произошло это в зимний, январский день. Иков сдавал экзамены в заочном педагогическом институте, на литературном отделении. Сережа готовился долго, истерически прикрывая голову подушками, заывая. Сдал он на «отлично». Отяжелевший от важности доцент пожал ему руку. Выбежал Иков на улицу упоенный, взвинченный, счастливый. Размахивал руками. И тут пришла ему в голову молниеносная, радостная мысль: а что, если всю жизнь так? Всю жизнь сдавать одни и те же экзамены и радоваться.

Побледнев, чувствуя, что в нём происходит что-то большое, огромное, Иков для сосредоточенности решил зайти в безлюдную пивную. Там, за кружкой пива, лихорадочно пережевывая хлебные палочки, внутренне теряясь, он стал обдумывать детальные планы будущей жизни.

Временами он подозрительно оглядывал случайных людей, как бы опасаясь, что они сопрут ключи счастья.

Иков решил воспользоваться тем, что его дядя — величина в научных кругах.

«Я поступлю так,— броско подумал он, заказав еще одну кружку пива.— В зимнюю сессию, и особенно в летнюю, буду оставлять много хвостов и в конце приносить справку о болезни. Институт заочный.

Меня оставят на второй год, и я опять по положению буду обязан сдавать почти те же экзамены. И так далее. На каждом курсе лет по пять, чтобы растянуть. А там видно будет».

С этого дня Иков зажил новой, сказочной жизнью. Картину Шишкина он убрал. Теперь его жизнь разбилась на две половины.

В первой половине, до сессии, он был тих, как мышка, осмотрителен, так как жизнь теперь имела глубокий смысл, боялся попасть под трамвай. Время он проводил на работе, аккуратно, исполнительно и затаенно. Только дома иногда пугал соседку-старушку своим преувеличенным мнением о значении счастья в жизни людей.

Зато во второй половине, во время сессии, Иков расцветал.

Сейчас, уже четвертый год, Иков учится не то на первом курсе, не то на втором, неизменно сдавая одни и те же предметы. В деканате махнули на него рукой, но считаются с его дядей.

Каждый раз после сдачи экзаменов его сердце замирает от восторга, когда в синенькую, с гербом книжицу властная рука учителя ставит неизменную оценку «отлично». Ему кажется, что вся профессура смотрит на него. «Ишь какой начитанный», — шепчут про него студенты и не сводят завистливых глаз.

Несколько раз Икову после сдачи слышалось пение.

Во дворе все знают, когда он возвращается с экзамена. Веселый, бойкий, поплеывая по сторонам, он входит в ворота. Иногда даже игриво даст щелчка пробегающему малышу.

— Далекó пойдет. Боевой, — шепчутся о нем старушки.

Свобода

В Измайлове на асфальтно-зеленой улочке расположились веселые, полные людей домишки. Целые летние дни воздух здесь напоен лаем собак, последними вздохами умирающих, криком детей и туманнотупыми мечтами взрослых. Все здесь происходит на виду, все мешают друг другу, плачутся, и вместе с тем каждый сам по себе.

В одном из этих домншек живет пожилая, полунинтеллигентная одинокая женщина — Полина Васильевна. Вместе с ней — три кошки и во дворе, в конуре — пес, обыкновенная дворняжка. Кварталов за шесть живет и ее дочка с мужем.

Сегодня, в воскресенье, — все семейство в сборе, и комнатуха Полины Васильевны забита людьми и животными. Уже второй час идет обед. Обедают молча, задумываясь, но иногда высказывая что-нибудь пугающе многозначительное.

Полина Васильевна иной раз отложит ложечку и юрко ртом ловит мух, делая точно такие же движения, какие делают в таких случаях собаки.

— Люблю повеселиться, — виновато говорит она зятю. — Другой раз сидишь себе так смиренхонько, накушавшись, работа сделана, всем довольна, но вроде чего-то не хватает. Я всегда тогда мух ртом ловлю. Наловишься, и как-то оно на душе спокойней.

— Кушайте, мамаша, кушайте, — сурово отвечает зять.

Кроме работы, он никак и нигде не может найти себе применение; поэтому свое свободное время он воспринимает как тяжкое и бессмысленное наказание. «Ишь, стерва, — с завистью думает он о теще. — Мне бы так. Наглотается мух и всегда какая-то ошастливленная».

Он прибауточно-остервенело тарашит глаза на Полину Васильевну. У нее мягко-аппетитные черты фигуры, побитое, с некоторой даже грустью, но очень спокойное выражение лица, какое бывает, пожалуй, у мудрецов к концу их жизни.

— Вон те и солнышко в аккурат выглянуло, Галина, — говорит Полина Васильевна дочери. — И лапша моя на подокошке нагрелась. В кухню не надо идти.

Галина, здоровая баба лет тридцати, ничего не отвечая, остервенело ест.

По ее сочно-помойному лицу, как суп, льется пот.

Ко всему на свете, к отдыху, к любви, даже ко сну, она относится, как к серьезной и продолжительной работе; ее интересует быстреее достижение цели, хотя цель — сама по себе — ее редко когда волнует. Поэтому она ест сурово, напряженно, заняв вместе со своими локтями полстола, и выражение лица ее не различишь от супа.

Полину Васильевну слегка раздражает молчание дочери; «ты хоть слово, а пискни,— думает она.— Хоть слово. Потому что ты среди людей, а не среди туш». Она обращается за выручкой к зятю.

— Молоко вчерашнее у меня попортилось, Петя,— повторяет она ему.— Не пойму, мурка лизнула или дождик накапал. Кап-кап, дождик.

Полина Васильевна икает от удовольствия.

— Само порчено,— деловито брякает зять.

От этих собеседных слов Полина Васильевна совсем растаивает. Она, как кошка, утирает лицо, но не лапкой, а платочком, и продолжает:

— В позапрошлом году у Анисьи репа поспела... Хорошо... Ик... А во время войны и гражданской революции я любила репу с картошкой кушать... Ик... Сейчас надо кошек почесать, а чаевничать потом будем.

Обед кончен, Галина бросает есть резко, как будто с неба грянул гром; и так же деловито и размашисто плюхается на кровать — баиньки. Сразу же раздается ее устойчиво-звериный храп. Петя же, окончив обед, стал еще оглоушеннойй.

Чувствуется, что он так устал от свободного времени, что взмок. Пройдет еще час, и он наверняка не выдержит: начнет материться. Матерится Петя от страха; особенно пугают его свободные мысли, временами, как мухи, появляющиеся у него в мозгу. Одна Полина Васильевна покойненькая: почесав кошек, она юрко, чуть вприпляску, собирает в миску остатки еды и несет ее в конуру, собаке.

Пока пес, виляя хвостом, судорожно грызет пищу, Полина Васильевна, опустившись на корточки, разговаривает с ним. Ей кажется, что пес — это самое значительное существо в мироздании; и что каждый не накормивший его человек — преступник.

А в далекой юности, когда она была религиозна, она почему-то представляла себе Высшее Существо в виде большой, с развесистыми ушами собаки.

— Умненький ты мой,— дико кричит она своему псу.— Кушай и облизывайся... Педагог...

Наконец Полина Васильевна издает животом какой-то уютный, проникающий в ее мозг звук и с теплыми глазами бредет обратно...

Дома Петя кулаком будит жену.

— Материться начну,— дышит он ей в лицо.— Удержу уже нет без трудодействия.

— Ух, матершинник,— бормочет сквозь сон Галина.

— Сама знаешь, теща,— культурная, не любит мата. Даже кошек тогда выносит из комнаты,— угрожает Петя.

Скрипя всем телом, Галина встает.

— Мы уходим, мамаша,— обращается Петя к вошедшей Полине Васильевне.

— Ну и Бог с вами, уходите,— умиляется Полина Васильевна.— Какая я была маленькая, а теперь большая. И мои уже накормлены,— кивает она в сторону кошек.

Дети уходят. Полина Васильевна свертывается на диване калачиком.

«Полежу я, полежу»,— думает она полчаса.

«Полежу я, полежу»,— думает она еще через два часа. Так проходит вечер.

Смерть рядом с нами

(Записки нехорошего человека)

Человек я нервный, слезливый и циничный, страдающий язвой желудка и больным, детским воображением.

Сегодня, например, с утра я решил, что скоро помру.

Началось все с того, что жена, грубо и примитивно растолкав меня, на весь дом потребовала утреннюю порцию любви.

Плачущим голоском я было пискнул, что хочу спать, но ее властная рука уже стаскивала с меня одеяло.

— Боже, когда же кончится эта проклятая жизнь,— пробормотал я понуро и уже не сопротивляясь.

Через десять минут я был оставлен в покое, и глубоко, обидчиво так задумался. Погладив свой нежный живот, я вдруг ощутил внутри его какое-то недоумение. Я ахнул: «это как раз тот симптом, который Собачкин мне вчера на ухо шепнул. Моя язва переходит в рак». Если бы я в это действительно поверил, то тут

же упал бы в обморок, потом заболел... и, возможно, все бы для меня кончилось. Но я поверил в это не полностью, а так, на одну осьмушку. Но этого было достаточно, чтобы почувствовать в душе эдакий утробный ужас.

— Буду капризничать,— заявил я за завтраком жене.

— Я тебе покапризничаю, идиот,— высказалась жена.

— Давай деньги, пойду пройду,— проскрипел я в ответ.

Жена выкинула мне сорок копеек. Я выскочил на улицу с тяжелым, кошмарным чувством страха, и в то же время мне никогда так не хотелось жить.

Изумив толстую, ошалевшую от воровства и пьянства продавщицу, я купил целую кучу дешевых конфет и истерически набил ими свой рот. «Только бы ощущать вкусность,— екнуло у меня в уме.— Это все-таки жизнь».

Помахивая своим кульком, я направился за получкой на работу. В этот летний день у меня был отгул.

Но цепкий, липкий страх перед гибелью не оставлял меня. Капельку поразмыслив, я решил бежать. «Во время бега башка как-то чище становится»,— подумал я.

Сначала тихохонько, а потом все быстрее и быстрее, с полным ртом конфет, я ретиво побежал по Хорошевскому шоссе. Иногда я останавливался и замирал под тяжелым, параноидным взглядом милиционера или дворника. «Какое счастье жить,— трусливо пищал я про себя.— Давеча ведь не было у меня страха, и как хорошо провел я время: целый день молчал и смотрел на веник. Если выживу, досыта на него посмотрю. Только бы выжить!»

Иногда я чувствовал непреодолимое желание — лизать воду из грязных, полупомойных лужиц. «Все-таки это жизнь»,— повизгивал я.

Скоро показались родные; незабвенные ворота моего учреждения — Бухгалтерии Мясосбыта. Пройдя по двору и растоптав по пути детские песочные домики, я вбежал в канцелярию. Там уживались друг с другом и истеричный, веселый хохоток, и суровая, вобравшая все в себя задумчивость. Представители последней,

казалось, перерастали в богов. Мой сосед по стулу — обросший, тифозный мужчина — сразу же сунул мне под нос отчет.

«Боже мой, чем я занимался всю жизнь!» — осенило меня.

Поразительное ничтожество всего земного, особенно всяких дел, давило мою мысль. «Всю свою жизнь я фактически спал,— подумал я.— Но только теперь, находясь перед вечностью, видишь, что жизнь есть сон. Как страшно! Реальна только смерть».

Где-то в уголке, закиданном бумагой и отчетами, тощая, инфантильная девица, игриво посматривая на меня, рассказывала, что Вере — старшему счетоводу и предмету моей любви — сегодня утром хулиганы отрезали одно ухо.

Это открытие не произвело на меня никакого впечатления. «Так и надо»,— тупо подумал я в ответ.

Теперь, когда, может быть, моя смерть была не за горами, я чувствовал только непробиваемый холод к чужим страданиям. «Какого черта я буду ей сочувствовать,— раскричался я в душе.— Мое горе самое большое. На других мне наплевать».

Я ощущал в себе органическую неспособность сочувствовать кому-либо, кроме себя.

Показав кулак инфантильной девице, я посмотрел в отчет и, ни с того ни с сего, подделал там две цифры. Все окружающее казалось мне далеким, далеким, как будто вся действительность происходит на луне.

Между тем зычный голос из другой комнаты позвал меня получать зарплату. Без всякого удовольствия я сунул деньги в карман.

Оказавшись на воздухе, я сделал усилие отогнать страх. «Ведь симптом-то пустяшный,— подумал я.— Так, одна только живость ума». На душонке моей полегчало, и я почувствовал слабый, чуть пробивающийся интерес к жизни. Первым делом я пересчитал деньги. И ахнул. Раздатчица передала мне лишнее: целую двадцатипятирублевую хрустящую бумажку. Сначала я решил было вернуть деньги. Но потом поганенько так оглянулся и вдруг подумал: «зачем?»

Какое-то черненькое, кошмарное веселие всюду плескалось в моей душе. «Зачем отдавать,— пискнул я в уме,— все равно, может быть, я скоро умру... Все равно жизнь — сплошной кошмар... Подумаешь: двад-

цать пять рублей — Вере ухо отрезали, и то ничего... А-а, все сон, все ерунда...»

Но в то же время при мысли о том, что зарплата моя увеличилась на такую сумму, в моем животе стало тепло и уютно, как будто я съел цыплят табака. Вдруг я вспомнил, что раздатчица получает за раз всего тридцать рублей.

«Ну и тем более,— обрадовался я.— Не заставят же ее сразу двадцать пять рублей выплачивать. Так по четыре рубля и будет отдавать... Пустяки».

Но мое развлечение быстро кончилось; знакомый ужас кольнул меня в сердце: вдруг умру... даже пива не успею всласть напиться. Прежний страх сдавил меня.

— Куда мне деваться? — тоскливо спросил я в пустоту.

Недалеко жила моя двоюродная сестра. Но представив ее, я почувствовал ненависть. «Лучше к черту пойти»,— подумал я.

У нас с ней были серьезные разногласия. Дело в том, что моя сестра, в молодости будучи очень похотливой и сделавшей за свою жизнь восемнадцать аборт-ов, вдруг на тридцать пятом году своей жизни впала в эдакий светлый мистицизм и стала искать живого общения с Богом. Не знаю, что на нее повлияло: то ли долгий, истощный крик толстого доктора о том, что — «еще один аборт, и стенки матки прорвутся»; то ли дикие угрызения совести из-за того, что она, ради своего удовольствия, не допустила до жизни восемнадцать душ... но с некоторых пор она упорно стала повторять, что мир идет к свету.

Хорошо помню ее разговор с соседкой.

— Ну, Софья Андреевна,— говорила соседка,— ну одного, двух человек умертвить, это еще куда ни шло — ни одна порядочная женщина без этого не обходится,— но, подумайте сами, восемнадцать человек!

— Ерунда,— брякнула сестренка,— вы видите только темную сторону жизни. Если я их и убила, то ведь зато существуют восход солнца и цветы.

Я представил себе, как она станет поучать меня, и побрел куда-то вдаль проходными дворами. Я проходил мимо галок, автомобилей, бревен, тяжелых, мясистых баб и уютных, слабоумненьких старичков.

Наконец, утомившись, я прикорнул на пустынном,

одичалом дворике у досок. Кругом валялись кирпичи. И ни одной души не было. Вдруг около меня появилась жалобная, брюхатая кошка. Она не испугалась, а прямо стала тереться мордой о мои ноги.

Я чуть не расплакался.

— Одна ты меня жалеешь, кисынька,— прошептал я, пошекотав ее за ухом.— Никого у меня нет, кроме тебя. Все мы если не люди, то животные,— проследился я.— И все смертные. Дай мне тебя чмокнуть, милая.

Но вдруг точно молния осветила мой мозг, и я мысленно завопил: «Как!.. Она меня переживет!.. Я умру от рака, а эта тварь будет жить... Вместе с котятками... Негодяйство!»

И, недолго думая, я хватил большим кирпичом по ее животу. Что тут было! Нелепые сгустки крови, кишок и маленьких, разорванных зародышей звучно хлюпнули мне по плащу и лицу. Меня всего точно облили. Ошалев, я вскочил и изумленно посмотрел на кошку.

Умирая, она чуть копошилась. Какой-то невзрачный, как красный глист, зародыш лежал около ее рта. От тоски у меня немного отнялся ум.

Быстро, даже слегка горделиво, весь обрызганный с головы до ног, я вышел на улицу.

«На все плевать,— думал я,— раз умру, на все плевать». Прохожие шарахались от меня в сторону, только какой-то пес, почуяв запах свежей крови, долго и настойчиво бежал за мной по пятам, повиливая хвостом. Забрел я на какую-то отшибленную, одинокую улочку. Кроме пивной и керосиновой лавки никаких учреждений на ней не было. Там и сям шныряли потные, временами дерущиеся обыватели. Вдруг я услышал за спиной пронзительный милицейский свист. Я обернулся и увидел вдали пьяного, еле держащегося на ногах обывателя, который указывал на меня пальцем, и несущегося во всю прыть в моем направлении дюжего милиционера. Я робко прижался к стенке.

— В отделение! — гаркнул милиционер, осмотрев меня своими большими, как ложки, глазами.

Через десять минут, промесив липкую помойную грязь, мы очутились в прокуренном, покосившемся помещении, плотно набитом людьми. На стенах висели

плакаты. За толстой, невысокой перегородкой, вроде перил, были миллионеры, по другую сторону мы — граждане. Нас соединяли какая-то дверца, похожая на калитку, и то, что все мы, в большинстве, были пьяны так, что еле держались на ногах.

Ретивый, полутрезвенький милиционер подряд штрафовал граждан за алкоголизм, еле успевая засовывать рубли и монеты себе по карманам. Он так торопился, что половина штрафа просыпалась у него под ноги, и мелочь густо, как семечки, усыпала пол.

Меня перепугал гроб, стоящий в углу. Но оказалось, что какой-то здоровый милиционер, еле выводя буквы, составлял о нем акт. Рядом стояла, тоже под хмельком, ядовитая старушка в платочке.

— Не будешь, мать, спекулировать гробами,— приговаривал милиционер.— Другой раз задумаешься.

Наконец очередь дошла до меня.

— К этому нужно вызвать начальника милиции,— гаркнул задержавший меня служивый.

Скоро вышел сухонький, маленький человечек в форме офицера. Он тоже был пьян.

Пошептавшись с моим милиционером, он подошел ко мне.

— Почему вы облеваны? — спросил он.

— Это не блевотина, а кровь, товарищ начальник,— ответил я.

— Не врете, что я, не вижу,— пошатываясь, сказал начальник.— Если бы была кровь, мы бы вас еще месяц назад задержали.

— Я подрался с кошкой,— тихо, как в церкви, проговорил я.— У меня были с ней метафизические разногласия. Кто переживет друг друга.

— Не хулиганьте, гражданин,— рявкнуло начальство.— Отвечайте, почему вы облевались, где не положено, и не в том месте перешли улицу?!!

— По рылу бы ему дать,— ухнул розово-упитанный милиционер у меня под ухом.

— Не самовольничайте, Быков,— оборвал его начальник.— Платите штраф, гражданин, и точка.

— Сколько?

— Ну... на четвертинку... полтора рубля то есть.

Я сунул ему в руку два рубля и повернулся к выходу.

— Гражданин, держите квитанцию,— раздался мне вслед хриплый, надрывный голос.— У нас тут не частная лавочка.

И кто-то сунул мне в руку конфетную бумажку. Потрепанный, я выскочил на улицу.

— В конце концов, должен же я знать, когда умру,— завопил я перед самим собой.— Я больше этого не вынесу. Я должен знать: умру я или не умру.

Но тут счастливая, устремленная мысль осенила меня. Вприпрыжку, по самым лужам, стараясь забрызгать себя грязью, чтобы скрыть следы крови, я побежал к трамваю...

Через полчаса я был у букинистического магазина. С каким-то неопределенным чувством, смутно надеясь найти какое-нибудь завалившее пособие по предсказанию будущего, я зашел внутрь.

— У вас есть черная магия? — спросил я продавщицу.

Она подняла на меня глаза и, увидев мое перепачканное в крови и грязи лицо, пискнула и, кажется, обмочилась.

Истерически, не обращая на нее внимания, я начал копаться в книгах. Случайно мне подвернулся справочник по диагностике для фельдшеров Курской области.

Разобравшись в нужном разделе, я пробежал глазами страницу и вскрикнул: против моего симптома, который шепнул мне на ухо Собачкин, вместо зловещего слова «рак» стояло слово: «запор». Ошалев от радости и еще не веря своему счастью, дрожа от нетерпения и страха, бормоча: «Все равно не поверю, все равно не может быть, чтоб так везло», я стал рыться в толстых академических справочниках. И везде против моего симптома стояло радостное, сияющее слово: «запор».

Шатаясь, я отошел в сторону. Продавщица, забившись в угол, расширенными от ужаса глазами смотрела на меня и бормотала, очевидно в качестве молитвы, слова песенки: «Ах, хорошо на белом свете жить...»

— Теперь я готов все простить Собачкину,— ликовал я, выйдя на улицу.

Но после первого приступа радости пережитые страхи и тревоги дали реакцию: я готов был долго, целыми днями, плакать.

Измученный, ввалился я домой.

— На кого ты похож! — заорала жена.

Сначала слегка припугнув ее тем, что у меня мог быть рак, рассказал я ей, как тяжело я это перенес и как открыл, что ошибся.

— Пожалей меня, я убил беременную кошку, — заскулил я, упав в ее руки. — Теперь меня замучает совесть.

— Только и всего. Какая ерунда, — бодро провозгласила жена. — Ну сделал глупость, другой раз так делать не будешь.

— Везде ужасы, — лепетал я. — Одному дяде с нашей работы хулиганы отрезали ухо...

— А тебе-то что, — прервала жена. — Если только это дядя, а не тетя, — и она внимательно посмотрела на меня.

— Конечно, дядя. Большой такой, — покраснев, увильнул я.

Жена принесла ведро воды.

— Я не вернул раздатчице лишние деньги; у нее детишки, они будут голодные, — не выдержав, горько всхлипнул я.

— А вот это ты молодец, — обрадовалась жена. — Не зря страдал, что болел раком. Сколько же она тебе передала?

— Десять рублей, — опять покраснел я и, не переставая всхлипывать, мельком подумал, с каким удовольствием я пропью завтра оставшиеся пятнадцать рублей.

— Ну все хорошо, что хорошо кончается, — заключила жена. — А ведь намучился ты так потому, что тебя Бог за меня наказал. Не хотел принести мне сегодня утреннюю любовь...

— Я больше не буду, — еще горше заплакал я.

— То-то, милоч, слушайся меня впредь, — окончила жена и стала меня отмывать. Временами, умиленный, как поросенок, наслаждаясь своим спасением, я целовал ее голые руки.

Серезенька

— Если в течение тридцати минут не сделать укол, парень умрет как дважды два, — сказал врач, выйдя на террасу. — А сделаем укол, будет жить, сколько влезет.

Кругом была мгла, вечер, высокие смутные деревья и подмосковные дачи. «Надо выйти на шоссе,— продолжал врач,— и поймать машину. Больница в семи — десяти минутах быстрой езды. Иного выхода нет. «Скорой помощи» поблизости нет».

Мамаша умирающего молодого человека, Вера Семеновна, первая выкатилась в сад. За ней вслед выскочили несколько гостей и дачников. «Неужто помрет, помрет... Сереженька-то», — бормотала Вера Семеновна, семена ножками по направлению к калитке. Ей казалось, что все вокруг оцепенело и только что-то сильное и жестокое давит грудь.

— Где взять машину? — подумала она, и ей на мгновение показалось, что она и есть машина, быстрая такая и широкая... Раз-раз, и понесет своего мальчика до больницы, быстро-быстро... Механически она выбежала за калитку на шоссе. Около нее раздавались громкие матерные голоса. Кто-то играл в карты, прячась в канаве.

Фьють, фьють, фьють — ей очень захотелось, чтобы показались десятки, сотни машин. Но ничего не было. Подбежали, подтягивая штаны, гости и дачники. Один из них на ходу полоскал горло.

Вере Семеновне почудилось, что спасение ее мальчика зависит от того, будет ли мир неподвижен и неподатлив, как сейчас, или нет?! Пыхтя, она побежала сама не зная куда.

Вдруг на повороте, у железной дороги, она увидела легковой автомобиль, ожидающий зеленого сигнала.

Уже через минуту она была около него; внутри сидело два человека, мужчина и женщина.

...Хватая себя за волосы, рыдая и воя, Вера Семеновна запричитала о том, что нужно спасти молоденького парня, ее сына, студента. Спасение займет всего десять минут.

— Мы еще не умывались, гражданка,— вдруг тупо сказал водитель.

— Он шутит, конечно, мамаша,— вмешалась женщина, сидящая на заднем сиденье.— Но поймите, мы должны вернуться вовремя: машина не наша, и ее хозяин давно ждет нас.

— Мальчик же умрет через полчаса! — громко заорала Вера Семеновна. Но странно, внутри она почув-

ствовала, что кричать бесполезно и что вполне нормально и естественно, если люди ее не послушают. И это сознание стало придавать некоторую театральность и искусственность ее, казалось бы, самым искренним и душераздирающим крикам. Наконец, после того как водитель холодно, как обычно смотрят друг на друга прогуливающиеся на улице люди, взглянул на нее, Вера Семеновна поняла, что все кончено; и хотя она знала, что не поступила бы так сама на его месте, тем не менее прежний холодный опыт жизни заставил ее даже не возмутиться, как будто так оно и должно было быть. Взглянув, она несколько даже лицемерно пискнула: «Восемнадцатый год мальчику-то... Рано умирать...»

— Вон смотрите, там еще одна машина,— сказала ей женщина.

Вера Семеновна бросилась туда, крича и размахивая руками. Но она не добежала до машины. Хотя водитель видел ее дикую, истерзанную фигуру, он рванул с места. Автомобиль проехал мимо Веры Семеновны, обдав ее грязью. Она обернулась.

Тем временем и первой машины простыл след. Она, как напроказивший малыш, всюду удирала по шоссе.

Вера Семеновна боялась посмотреть на часы.

А по другую сторону железной дороги она увидела вспыхнувшую в ее сознании картину: около пивного ларька стояла милицeйская машина. Дюжие милиционеры втаскивали в нее молча, но остервенело сопротивляющегося мужика.

Когда Вера Семеновна подсеменкла туда, там уже были ее соседи-дачники.

— Не дают автомобиль,— тупо и удивительно сказали они ей.— Говорят, что им срочно надо отвезти пьяного. И они не могут не по назначению использовать машину.

Вера Семеновна, сама не помня себя, но больше механически, принялась кричать.

Сиволापые милиционеры подтаскивали пьяного и осматривали его, но в то же время наблюдательно и даже с уважением слушали ее. Слушали и ничего не отвечали. Одному она кричала прямо в ухо, но он, казалось, слыша ее, равнодушно стоял и смотрел на пьяного, точно выпуская ее крики из другого уха. Смотрел и переминался с ноги на ногу.

— Слезами, хозяйка, горю не поможешь,— вдруг, крикнув, назидательно проговорил он.

Тут же к нему пристало подошедшее со стороны, какое-то пьяненькое, но громадного росту существо. Этот мужик сначала незаметно и тихо, как в тайне, с любопытством выслушивал Веру Семеновну и дачников. Теперь он упоенно взыгрался.

— Ведь сыночек у матери помирает, родное дите,— зычно закликушествовал он, поднимая огромные руки то на грудь, то к небу.— Люди, а?! Люди?! Али вы крокодилы? Ежели бы чужой иль племяш... А то ведь родное дите... Пожалеть тут надо, приголубить, а... Дубины...

Он так кричал и самозабвенно расплескивался, что не заметил, как Вера Семеновна с дачниками уже ушли. Долго еще потом он орал и даже, когда милицмейская машина уехала, одиноко бежал по темным дачным улицам, крича и причитая, пугая собак и старух.

Вера Семеновна между тем подходила к своему дому. Она ушла, потому что посмотрела на часы: прошло уже сорок минут. Состояние у нее было мертвобореченное, слегка полоумное и в то же время спокойное.

Она думала о том, что она еще с самого начала, когда выбежала из калитки, ясно осознала то, что хоть ей и встретятся люди, но никто все равно не поможет. Что просто так должно быть, судя по всему, что такое жизнь, и возмущаться так же 'нелепо, как если бы ударила молния и убила ребенка. Но ее душил кошмар, сам по себе, потому что исчез ее мальчик: она была уверена в этом, в таких случаях врачи не ошибаются.

Маленький, распушистый куст на мгновенье показался ей сыном; она взмокла, и ей захотелось поестъ; по спине прошел холод. Вдруг Вера Семеновна подумала, что теперь, без сына, ей сполна будет хватать ее пенсии.

Посмотрела на небо: может быть, ей еще удастся слетать на луну.

В саду, у ее дома, шумели, точно разговаривая с Богом, деревья. У калитки, освещенная уличным фонарем, стояла старушка соседка. По ее оживленному лицу Вера Семеновна поняла, что Сережа умер.

Нежность

Неудачный я человек. Очень нежный и очень жестокий. Нежный, потому что люблю себя и, наверное от страха, хочу перенести эту нежность вовне, смягчив ею пугающий меня мир... Очень жестокий, потому что ничего не нахожу в мире похожего на меня и готов поджечь его за это.

...Уже два года назад все свои претензии к миру я перенес на маленькое, изящное существо с тропутыми, большими любопытством глазами — мою жену... Огромный чудовищный, как марсианские деревья, мир смотрел на нас в окна, но мне не было до него никакого дела... Теперь это все позади... Медленно, как закапывается гроб в могилу, тянется последний акт нашей драмы... Жене — ее зовут Вера — имя-то какое ехидное — хочется нежности... Боже, до чего ей хочется нежности!.. В некотором смысле нежности хочется и мне. Ну, скажите, почему такой гнусной, изощренной в жестокости твари, как человек, непременно нужна нежность?! То, что человеку нужен топор,— это понятно, но почему нежность? А может быть, наоборот, и жесток-то человек только потому, что ищет и не находит нежности, и все войны, кровопролития, драки, самоубийства объясняются этим крикливым, вопиющим походом за несбывальной нежностью... А все почему: хочет человек, чтобы его все любили, носились с ним, признавали до самых патологических, гнойных косточек,— а раз нет этого, так и получай пулю в лоб... Нет чтобы только в себе искать основу всего... Слаб человечешко-то, слаб...

Так что нежность-то, господа, вовсе не такое уж кроличье свойство, как кажется на первый взгляд. Совсем даже напротив. Ничего более непримиримого я не встречал...

Маленькая, бедная девочка, как она на меня смотрит своими добрыми, самоотверженными глазами... Казалось, готова умереть за меня... Но не за меня, а за комочек полнокровной, от кончика пальца до души, ласки... О нет, нет, я не так жесток — или не так честен,— чтобы говорить ей, что уже давно не люблю ее... Потому что я настолько мерзко, обреченно и жутко влюблен в себя, что могу по-настоящему любить душу, не отличающуюся от моей, а таких не может

быть... Есть только родственные более или менее... А мне этого мало... Да, впрочем, есть ли родственные?! Правда, это я только относительно своей жены говорю...

— Принеси чего-нибудь поесть,— говорит Вера, а сама пристально следит за мной...

Чувствует сердечко-то, чувствует... Я горделиво подхожу к ней и нежненько так, почти религиозно, целую ее в висок... У нее, правда, очень красивый висок и жилки, умные такие, в глубине бьются... Если бы ее висок отделился от нее и жил сам по себе, то я, может быть, любил бы его... Холоден и чист мой поцелуй как поцелуй праведника... Верины глаза наполняются слезами.

— Ты любишь меня? — спрашивает она.

— Конечно, милая, как могу я не любить,— смрадно и проникновенно отвечаю я.

И выхожу из квартиры... за покупками.

...Веселое, сумасшедшее солнце заливает мир своей параноидной неугасимостью... Это правда, что я уже не люблю Веру; но точно таким же я буду по отношению к любым женщинам; значит, в своеобразном смысле я все-таки по-своему люблю Веру.

«А если и не люблю, то есть долг,— визгливо думаю я.— Долг превыше всего: если не будет долга, жизнь превратится в игру слепых, эгоистических сил и связи между людьми разрушатся... Но кто, в конце концов, взял, что я не люблю Веру?! Люблю, люблю, вот топну ножкой и скажу: люблю! Разве она изменилась с тех пор, как мы впервые встретились?! Разве изменился я?! Разве не дарю я ей конфетки по воскресеньям?! Я люблю ее больше жизни, больше поэзии, больше самого Творца... Но больше ли самого себя?!»

...Какая длинная и нудная очередь за маслом... Хохотливые голоса людей играют моим воображением... Я стаю в стороне, боясь уронить себя на пол... Меня надо пожалеть, я тоже хочу нежности... Но опять передо мной стоит, как больной призрак неосуществимого, Вера, моя любовь... Куда я от этого денусь... Мне снова надо идти домой... Что скажу я ей, какой веночек надену на бедную женскую головку, какой возведу хрустальный замок... Ведь ей всего двадцать лет... Маленькая, вот она высунулась из окошка и

машет мне рукой... Беатриче... Однако я заворачиваю в библиотеку... Беру книгу, вдруг откладываю ее, вспоминаю, иду в коридор... И вхожу в строй моей души...

Большие круги мыслей тяжелеют в моем уме... Может быть, они глупые, но они — мои и дают своим существованием... Это очень приятно — носить странный, инфантильно-инфернальный мир в своей душе... С этим миром я выхожу на улицу, раскачивая сумку... Вхожу домой... Раскладываю масло, одинокую картошечку... Вера весела, как бьющий через край кипящий чайник... Поглаживает меня по головке... Но мой мир давит меня... Я, как все люди, ем салат, но заглядываю только в самого себя... И повторяю, что люблю Веру...

Она сердится:

— Я и так мало тебя вижу. Но пока ты здесь, будь со мной, будь со мной... О чем ты думаешь?!

Я отвечаю, что думаю о ней.

— Почему же ты не думаешь вслух? — наивно и детски-дружелюбно спрашивает она.— Расскажи,— тянет она меня за рукав, как ребенка.

Я говорю о том, что наш комод переполнился бельем и что я ее люблю. Мне становится страшно... Но не от жалости к ней, а от огромной, черной пустоты, опять возникнувшей в моей душе... Все предметы становятся как игрушечные и чужие... А Вера с ее милым, пухленьким лобиком напоминает куклу из магазина. Но почему эта кукла такая умная и человечная?! Я встаю и выхожу на улицу в новую, более спокойную форму одиночества... Вера остается одна... Наверное, будет чистить мой пиджак и через любовь к этому пиджаку опять успокоится... Только бы она не строила лишних иллюзий...

Вечером я прихожу, окруженный своими мыслями, как синими облаками... Вера плачет... На минуту мне становится сентиментально и интересно, как будто заплакал шкаф или занавеска... Я очень люблю, когда плачут. И если бы плакали тротуары, я был бы к ним более снисходителен.

Вера протягивает мне худенькие дрожащие руки... Она очень больна; говорят, что у нее начинается истощение нервной системы, а это плохой диагноз...

Какими тяжелыми камнями наполнена моя душа...

Одни камни и камни... И мир такой же: из камней... Мне холодно... Я дотрагиваюсь до Вериных слез... Как жутко смотреть на когда-то любимое лицо, где каждая тень, каждая черточка взывает к бессмертному, теплomu, родному, и проводить по нему рукой, как по высеченному из камня лицу далекого и чуждого сфинкса... Камни, камни, одни камни в моей душе...

— Верочка,— взвизгиваю я,— не верь!

Она испуганно смотрит на меня.

— Чему не верь?

— Не верь, что я не люблю тебя,— шепчу я.

Она улыбается грустной такой и больной и счастливой улыбкой. Какая жалость, что я не успел сегодня выпить четвертинку водки. Но выпью завтра, холодным, пустым, как ожидание, утром.

Наконец я укладываю Веру спать... Даю ей лекарство. Она засыпает... Не улизнуть ли сейчас, когда она крепко спит, за четвертинкой... Но нет — не хочу! Сегодня мне хочется нежности... Да, да нежности... Или вы думаете, что одной Vere этого хочется?!

Скоро, скоро наступит мой час!.. А пока я укрылся за одеялом... Жду... Тихо тикают часы и мое жаждащее сердце... Я знаю, что случится в середине ночи...

Наконец начинается. Я осторожно всматриваюсь и поглаживаю подушечку... Верочка, как деревянный, больной шизофренией призрак, медленно приподнимается с постели... Это немного страшно. Ночью в нашей комнате чуть светло от непонятных лучей с улицы...

«В состоянии»,— шепчу я... Один раз я ошибся: оказалось, она просто встала попить воды; это был тяжелый срыв... Но теперь все в порядке... Я знаю это по вытянутым, спокойным рукам. Бедная девочка, она страдает лунатизмом и, кажется, не подозревает об этом... Я умиленно так, пролив одинокую, чуть лицемерную слезинку, вскакиваю с кровати... Вера медленно, как слепая, бродит по нашей пустой, с приютившимися по углам стульями комнате... Я включаю, но тихо, таинственную музыку — Моцарта... Забываюсь в угол и смотрю на нее. Ее лицо — измененное, синее, о, это уже не Вера, а кто-то другой, больной и вставший из могилы, ходит по нашей комнате... Моя ночная возлюбленная... Я включаю танцеваль-

ную музыку... Что-то средневековое... И, надев свой лучший костюм, не прикасаясь к Вере, чтобы не разбудить, начинаю танцевать около нее... Иногда ее раскрытые, напоенные каким-то вторым, странным существом глаза смотрят на меня... Но она видит, наверное, скомканные просторы других миров... Мое сердце тает от нежности... Я становлюсь удивительно ловок и гибок в танце, как изгибающийся под ветром цветок...

Почему она не говорит со мной?! Хотя бы шепот, хотя бы смутный язык подсознания...

Я страдаю от того, что не могу поцеловать ее... Ее, а не Веру... потому что Веры — нет... Всего одно прикосновение — и опять, точно из гроба своей оболочки, восстанет живая Вера... О как не хочу я этого!.. Но неприкасаемость только распяляет воображение... Почему она так тихо, бесшумно ступает?! Потому что сейчас — во втором своем существе — она знает, как ужасен мир и как тихо, тихо надо ступать по нему... Чтобы никто не услышал... Даже Бог... Тссс!

О, что, что сделать для нее великое?! ...Хочу, хочу дать ей все... Но что — наряды, автомобили, бессмертие?! Я не могу подарить ей даже конфетку... Даже конфетку... Лучше я съем за нее сам... И почувствую токи в своем животе...

Вот она медленно уходит в свою постель... Я вижу ее нездешнюю, синюю улыбку: «до свидания» — хочет она сказать... Тсс! Все кончено. Я выключаю музыку. В стуке сердца ложусь к себе...

Вдруг Вера зовет меня... Проснулась... Просит пить...

Лежит вся мокренькая, в поту, и ничего не знает и не помнит. Я нарочно никому не говорю об этом... И не вожу лечиться к врачам... Пусть... Так лучше... Мне... и Нежности...

— Ты ведь любишь меня, правда? — чуть слышно спрашивает Вера, отпив глоток бледными, как вода, губами.

— Да, люблю,— повторяю я и уйду в темноту, в свою постель...

А ведь суровая штука эта Нежность, господа!

Куриная трагедия

Курица была беленькая, слегка жирненькая и жила у самого синего моря. Клю-клю-клю — этим звуком было наполнено все ее существование. Но каждое утро, проснувшись, она любила, спрятав голову на груди, прислушиваться к стуку своего сердца. Этот звук казался ей таким жутким и родным, исходящим из самой себя, что она часто, наслушавшись его, убежала во тьму. В этом отношении это была странная, непохожая на других курица. В остальном она не отличалась от самых обыкновенных кур.

Ей часто было легко и просторно, когда она катилась по очень нежному и обволакивающему, что люди называют воздухом. И на твердом она чувствовала себя покойно, только давило в ногах.

Весь мир казался ей резкой, крикливой картинкой, в которой что-то исчезало и что-то появлялось. Она различала большое и маленькое, быстрое и неподвижное, шумное и тихое. Боялась она большого и скорого, особенно скачущего на нее. И утречком, выйдя на свет, среди всего этого хаоса звуков и метаний всем куриным нутром своим она чувствовала нападение и бросалась в сторону. И все нежное мясо ее, даже в самых глубинах, между косточек, превращалось в один плотный, беспрерывный, бьющийся крик.

Это было до безумия страшно и в то же время приятно, особенно когда опасность миновала. Поэтому, чтобы почувствовать приятно, она истерически кудахтала и, оберегая себя, шарахалась в сторону даже от падающего листа.

Случались, впрочем, дни, когда все проходило без ужасов или налетов и мир становился тихим, понятным, как писк послушного цыпленка. Откуда-то залетали ей в рот мухи, или прямо из Неизвестного сыпалось перед ее глазами нечто маленькое, к чему тянешься и отчего теплеешь. И она надолго погружалась в родное «клю-клю». Только иногда блеснет, бывало, что-нибудь чуждое из серии «ах», и ее куриное нутро ответит одиноким извивом страха.

Иногда ее бросало куда-то далеко-далеко, в глубину хаоса, кручений и звуков; ее ослепляло синее,

летающее, шумное; а люди плескались в нем, довольные,— это было очень много всего, и она нервно отскакивала в сторону: издалека «оно» выглядело спокойнее.

Вообще, когда не случалось «нападающего на нее», мир поражал ее своей простотой и ясностью. И только по утрам, после сна, когда она прятала голову на грудь, ей становилось жутко от стука собственного сердца.

...Однажды, в один пронизывающий день, все было тихо и обычно. И вдруг она почувствовала, как на нее надвигается и хочет схватить ее нечто абсолютно страшное, раньше никогда не бывавшее, окончательное и вечно-нелепое.

Она хотела метнуться, но всего лишь перекувырнулась: тело плохо слушалось ее. И «это» полностью овладело ей: она ощутила, что ей некуда двинуться, некуда шелохнуться. Что-то подняло ее вверх и понесло. Это был железный, сжимающий полет. Вся переполненная безграничным ужасом, она вылила его в дикий, так что поднял уши далекий пес, крик. Ужас шевелил ее сжатое горло и, наверное, мог выдавить изнутри глаза. И теперь мир казался ей непонятным, стремительным и неизвестно откуда появившимся. Вдруг полет прекратился, и она очутилась на твердом. Но теперь она еще сильнее чувствовала, как бешено надвигается на нее какой-то жуткий разрыв, вечная тень и конец всему тому, кем она была внутри себя. Она ощущала этот надвигающийся разрыв каждой своей клеточкой, которая вопила, взывая к самой себе, и сама курица билась с таким внутренним отчаянием, что из дыр ее выбрасывалась кровь и слизь... Где-то совсем рядом, за стеной, раздавались точно такие же, исполненные ответного страха, но вместе с тем благополучные звуки. То были остающиеся жить куры. И их безумное и живое кудахтанье стало единственным, что слышала курица, потому что остальной мир был по-прежнему потаен и равнодушен... Внезапно она перестала видеть и слышать, но долго еще с тем же незаходящим ужасом бессмысленно барахталась в чем-то темном, упругом. Скоро исчезло и оно...

Супруги Ивкины зарезали в этот день на обед курицу. Мир был для них понятен, только когда они ели, мылись или достраивали свой дом.

Для самого Ивкина мир становился особенно тесным во время голода, повальных бедствий и по ночам, когда у него случалось недержание мочи. В эти периоды он обычно долго и иступленно молился или решал геометрические задачки. Как раз в тот день, когда зарезали курицу, у Ивкина, под самое утро, «пошла моча». А под вечер он ел нежную, белую куриную плоть. И вскоре у него прошло недержание.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Тетрадь индивидуалиста

Эту старую, драную тетрадь нашел около помойки Иван Ильич Пузанков, сторож. Он хотел было обернуть в нее селедку, но по пьяному делу начал ее читать. Прочитав несколько страниц, он ахнул, решив, что у него белая горячка. Его напугало больше всего то, что ему — значит — нельзя дальше пить, а до литра водки он не добрал еще 200 граммов. Но, гневно рассудив, что мы, пьющие, еще никогда не отступали, Иван Ильич пополз все-таки в ближайшую пивную. Там он продал эту невероятную тетрадь за полкружки пива и кильку одному озирающемуся, болезненно интеллигенту, который и сохранил ее в паутинах и недоступности.

Тетрадь индивидуалиста

Поганенький я все-таки человечешко. И еще более поганенький, что пишу об этом — любя; клянусь себя — негодяюшко, маразматик, ушки надрать мало — а все-таки люблю! И как люблю! По-небесному.

Но все же это подло, так любить себя... Особенно после того, что было... А что было, что было! И началось ведь все с того, что любил я не себя, а — ее... Как это удивительно — любить другого человека. На душонке, не обремененной тяжестью и страхами эгоизма, так легко, легко и чувствуешь себя как-то по-благородному. Я бы всем влюбленным давал звание дворянина. Была она девица на вполне высоком уровне; в меру inferнальна, поэтична и страдала лунатизмом. Любил я ее страстно, но больше все как-то по-грустному. Бывало, прижму ее к себе, смотрю в ее глазенки таким сумасшедше-проникновенным взглядом, а она плачет. Плачет оттого, что уж очень выражение

глаз моих было не от мира сего. А все, что не от мира сего, вызывало ручьи ее слез. И плакала она тоже не как все, а по-нездешнему, плакала не слезами, а мыслями; задумается, унесется куда-нибудь, и слезы падают просто в такт ее отчаянным мыслям.

Очень нервна была. Впрочем, мне только этого и надо было. По ночам я целовал ее одинокие, холодные ноги и нашептывал кошмары. Гладил ее прозрачную, тоже не от мира сего в своей нежности, кожу, впивался в ее плоть... и бормотал, бормотал... о страхах, о великом отчаянии жить среди людей, о смерти. Весь медовый месяц я рассказывал ей о смерти. Метафизично рассказывал, с бездноточками, с жутковатыми паузами, когда все замирало; и, визгливо валяясь в ее прекрасных, обнаженных, неприступно-мистичных ногах, выл, умоляя ее защитить меня от страхов, от жизни, от гибели... Бедненькая, как это все она выносила!

Весь гной, все параноидные язвы душонки моей перед ее глазами разворачивал, с упоением, с визгом, с надрывом. Это и называл истинной любовью. Так и любили мы друг друга, целыми днями скитаясь по нашим запертым комнатам наедине с кошмаром и темным молчаливым небом, глядящим на нас в окна.

Зина чаще молчала и все больше в себя впитывала. Я же подвизгивал, смотрел на нее и строил миры. Миров моих она боялась и, кажется, плакала от них. Впрочем, по-своему шизоидна она была необыкновенно и могла простую, пустейшую фразу так обыграть, что построить из нее «мир», уйти в него и спрятаться. Но до меня ей было далеко, не хватало полета-с! Так и глядели мы, одинокие, растрепанные, из своих миров друг на друга и пели потайные сказки... На нервах все было, на нервах!

Вы думаете, мы не расписались в загсе, не оформились, не зачлись? ...Если я мистик, так уж, значит, ничего этого не было? Было, было, все было. И загс, и идиотическая свадьба с идиотическими родственниками, и салат с картошкой, и даже «горько»... Впрочем, у меня было такое ощущение, что женят не меня, а кого-то другого... Какое я имел отношение ко всем ним... И моя невеста казалась мне сказочным существом, спустившимся с небесной обители, а вокруг нас одни свиньи, кабаны и убудюдки... Так что от свадьбы

у меня осталось впечатление одного хрюканья. Я сразу же возненавидел ее родителей, возненавидел лютой ненавистью, именно за то, что эти твари через мою Зину осмелились стать со мною наравне.

Должен сказать, что больше всего на свете я не терплю обыкновенных людей, каких девяносто процентов на земле. Я готов биться об заклад, что любой убийца, дегенерат, алкоголик — лучше и возвышенней среднего человека... У преступника в душонке может быть и покаяние, и страх, и на лбу потик от чувствительности выступает, а вот у обычного человека даже этого ничего нет — он говорящая машина, антидуховен, патологически туп и считается, что обладает здоровым смыслом. Но по сравнению с ним любой олигофрен с субъективинкой — мыслитель. Посмотрите в глаза среднему человеку: что в нем увидишь: навсегда замкнутый в своей звериной тупости цикл мыслей и полное отсутствие высших эмоций. Что является первым в иерархии ценностей для среднего человека: вещь, материя, деньги, а не мысль, и не чувство, и даже не гаденькое покаяныце...

А почему так? Да потому, что обыкновенный человек слишком туп, чтобы воспринимать духовное, и, чтобы утвердить себя, вынужден хвататься за внешнее и видеть высшую ценность в чем-либо вещественном или, что еще хуже, — в какой-нибудь умственной глупости, если обычный человек вдруг взялся за идеи.

Семейка ее как раз была в этом обычном плане. Братец ее был даже личностью в своем роде патологической. Очень замкнутый, скаредный молодой человек, он отказывал себе во всем, лишь бы скопить деньги. Я помню, как вечером, откушав корочку черного хлеба с луковицей, он полез в чемодан, вытащил оттуда огромную пачку денег и, истерично поглаживая ее, обслюнявив, прижал к сердцу и пробормотал: «Только с ними я чувствую себя интеллигентом».

Деньги ему нужны были не для того, чтобы их тратить, а чтобы чувствовать себя человеком, самоценной личностью, и выше их он ничего в жизни не ставил. Однажды он всерьез, по-нервному заболел, когда где-то услышал, что Черчилль читал Шекспира.

«Как может великий человек заниматься такой ерундой?» — заявил он, побледнев. Для него это была психологическая катастрофа.

В стихи, в живопись, в религию он просто не верил, а считал, что все это выдуманно. Он был искренне убежден, что люди не только не верят, но и никогда не верили в Бога и что такого человека, который верил бы в Бога, в идеализм, в стихи, вообще не было, а то, что об этом написано в книжках,— одна пропаганда.

— Как можно видимое предпочесть невидимому? — говорил он.

Родители его — солидные инженеры — были так же глупы, но не столь патологичны.

Первоначально, еще в период ухаживаний за Зиной, держался я с ними тихо и потайно, так что они принимали меня просто за чересчур скромного и молчаливого, а в общем достаточно приятного молодого человека. Поэтому и не возражали против брака. Но уже через два дня после свадьбы я развернулся. Жили мы сначала у нее, так что все было на виду. Принцип мой был таков: делать все по-своему, но на словах ничего не возражать, а, наоборот, со всем соглашаться и показывать внешне, что веду себя по-ихнему. Это была необходимость: я органически не мог с ними не только спорить, но и разговаривать. Я чувствовал себя униженным, смятым, приравненным к чему-то идиотскому, ненужному и вещественному уже оттого, что сижу с ними за одним столом и вынужден их выслушивать. Все мои нервы болели.

«Саша (так зовут меня), Саша говорит, что он страсть как любит домовитость и будет помогать нам ухаживать за дачей», — кричала на всю кухню мамаша Зиночки.

А я каждую субботу уваливал от общения с ними и предпочитал уйти в свой мир. А мирочки свои ведь я обожал, упивался ими, и они были для меня такими же близкими и родными, как и мое тело... И я варился в их соку, как в собственной крови, и не любил, чтобы их касались...

Но родители меня быстро раскусили. Помню одинокие вечерние чаи, когда все семейство было в сборе. Застывшая лампа с синим абажуром казалась мудрой и индивидуальной по сравнению с этими обычными, ничуть не хуже других, людьми, сидящими за столом.

Пока я с ними ни о чем не говорил, я чувствовал

в душе непередаваемую тонкость и нежность. Мои мысли казались мне потусторонне сентиментальными и воскресающими мертвых...

— Саша, почему ты не поедешь на дачу, не купишь котлет, не выучишь стихи? — осторожно спрашивает меня Зиночкина мамаша.

— Я обязательно сделаю все это в субботу, — невозмутимо и покойненько отвечаю я.

А внутри начинаю заболеть оттого, что они смотрят на меня, как на равного человека.

«Почему они не чувствуют моей необычайности, — думаю я. — Может быть, я обычен?! Действительно, когда я им отвечаю, я становлюсь обычным. Это ужасно».

— Но ты каждый раз обещаешь нам все делать в субботу, — равномерно говорит мамаша Зиночки. — И так уже четыре месяца. И ничего не делаешь.

Ее глаза влажнеют от злости. У отца такой вид, как будто ему снится, что он на официальном приеме. Я молчу. Их поражает моя потусторонность. Они не могут определить ее словом, теряются в догадках, но что-то смутное чувствуют. Это им кажется таким страшным, что брат Зины роняет на пол ломоть хлеба.

— Может, ты думаешь, что ты умнее нас? — холодно спрашивает меня мать.

Я опять отвечаю какой-нибудь вздор, и от этого вся ситуация становится еще загробней.

— Может быть, ты что-нибудь скажешь ему? — спрашивают мою Зину.

Но на ее глазах появляются защитные слезы...

И таких вечерочков было немало.

Бедная Зиночка — она, как зверек, любила своих родителей — металась между мной и ними. Днем мне было трудно ею управлять (они запутывали ее здравым смыслом), но по ночам и когда мы оставались tête-à-tête я был царь над ней. Тут уж действовали мои миры. В конце концов, чтобы отгородиться от родителей, я решил отвечать им на все вопросы своими выдуманными словами, чтоб они ничего не поняли и ужаснулись. «Кольцом инакоречия самоогорожусь от внешних болванов», — хихикнуло тогда у меня в уме.

Если теперь они допытывались у меня, люблю ли я Зиночку, я отвечал: «дав-тяв-гав-сяв». Если они, например, спрашивали, почему я не почитаю модного ак-

тера, я отвечал: «брэк-тэк-халек». Если они сердились и психовали, вспоминая мое мнение, что луна внутри пустая, я отвечал односложно: «му». На каждый вопрос я реагировал по-разному.

Самое забавное: они решили, что я хулиганю. Дальше так продолжаться не могло, и я навизжал по ночам Зиночке, что мы переедем ко мне. Она отлично понимала мою политику и считала, что я еще милоливо обошелся с ее родными. Ей было страшно переезжать в мои грязные, одинокие, заставленные исторической мебелью, какие-то оторванные от этой жизни комнаты. Но она знала, что найдет там нежность. Нежность, от которой мутнеет ум и которая, может быть, даже превращается в мучительство, в истязание; нежность, которая повисла над бездной страха... Мы переехали в мою квартиру...

Там мне уж совсем стало хорошо, покойненько так, оторванно... И развернулся я перед своей женушкой уже по-настоящему, взаправдашно, до конца... «Отъединенности, отъединенности», — визжал я в ее ушко по ночам. А ей тут же снились кошмары. Я очень любил наблюдать, как ей они снятся. Чутьишко у меня в этом отношении было необычайное: как только кошмарик ей во сне представится, я тут как тут — проснусь сладенько, подскачу на кровати, но ее не бужу, а свечечку (специально у меня была в тумбочке припасена) зажгу и тихохонько на ее личико наслаждаюсь. Выразительное было очень личико: белое, нежное, оно легко содрогалось, как будто змеи там под кожей ползали. Страшно ей, видно, было... Потом, когда все кончалось, я будил Зину и, нашептывая переходы, тайные мечты, разжигая в ней патологическую жалость к самой себе, неистово брал ее.

В агонии, в драме полового акта искал я выход и убежище от Властных Сил, создавших нас не по нашей воле. За все эти минуты мысли мои и слова, обращенные к Зине, были творениями Духа в самой потайности его и подло-оголенной интимности.

«Сплетенности, сплетенности», — визжал я теперь в ее ушко. В нарастающем визге полового акта заставлял я видеть ее и всю человеческую жизнь, обреченную и хрупкую, как сперма, гаденькую, маразматическую, с ее взлетом, сладострастным цеплянием за наслажденьице и падением в ничто. Я заставлял ее пред-

ставлять, что пот сладострастия — предсмертный пот и что истомленный конец полового акта — это и есть символический конец нашей человеческой жизни, жизни такой же гаденько-родной и обреченной на быструю гибель, как извержение семени.

В конце концов она доходила до того, что болезненно-нежно целовала остатки разбрызганной моей спермы, бормоча, что это слезы расколотой жизни. «Упьюсь, упьюсь», — надрывно стонала она.

И все эти акты я заставлял ее совершать в глубоком подполье, при свечах, под одеялом, как что-то глубоко-подленькое, родное и неотказное...

Вы думаете, когда мы не дрожали в физической дрожи, а были в покойненько-удовлетворенном, духовном состояньице, мы меньше маразмизировали?! Ничуть. Только по-своему. Ведь состояньице было тихое, умственное, как будто у нас не было тел.

Тел-то не было, зато глазенки были... Плакала она много, конечно. Металась по моим одиноким, шизофреническим комнатам, где каждое пятно пугало ее и казалось миром. Морил я ее также голодом. Голод ведь вообще усиливает потусторонность и хрупкость тела; вызывает потоки причудливых сублимаций, чудесных желаний. Ведь интеллигентный человек никогда не признается себе, что хочет есть, а подумает: чего-то мне не хватает, непонятного и таинственного. Таким образом я и будировал ее высшие качества. Духовности, духовности — я хотел как можно больше духовности.

Другой мой способ заключался в том, что я разжигал у нее страх перед смертью. Я сам до патологичности, до судорог боюсь смерти и считаю, что Творец должен еще передо мной ответ на коленях держать за то, что я так гнойно смертен и каждую минуту — хотя бы теоретически — могу умереть.

Ну-с, а тут были пустяковые болезни, у меня и у нее, так что почва для страхов была прямо-таки благодатная.

Нежно подольстившись к ней в смятенном полумраке нашей комнаты, я целовал ее левую пухленько-родненькую грудку с умильной родинкой — место, которое она сама очень любила в себе и на которое не могла без слез смотреть в зеркале — и говорил: «это умрет»; прильнув губами к ее блаженному гор-

лу, пришептывал: «и это умрет»; и заглянув — над-рывно заглянув, мистически — в ее чистые, бездонные глаза, произносил: «и то, что там, за этими глазками, тоже — умрет...» И она понимала, что душонка умрет, бедная, нежная и затерянная, как маленькая лодка в глухом лесном пруду. Постоянным подчеркиванием реальности и в то же время ужаса, абсурдности смерти как окончательного конца «я», при одновременном аккуратном разжигании безудержной любви к этому своему обреченному «я» — доводил я ее до дикого состояния, подобно тому, когда снится, что тебя преследую, а ты не можешь проснуться и никогда не проснешься. Под конец при мысли о смерти, точно подстегиваемая страхом, она начинала бросаться посудой, стонать и лезть на стены, особенно когда я, томимый ужасом перед гибелью, одиноко, не требуя ни на что ответа, забивался в темный, паутинный угол и плача целовал свои руки и ноги.

Маленькая, как это она все мне прощала. От нежности, конечно, прощала, я уже говорил, что нежности. Вы ведь понимаете, что среди всего этого мрака, патологического ужаса и шараханья мыслей была неземная, болезненная нить нежности. Нежности, которая соединяет двух людей в смертной камере. Нежности во взгляде человека, которого ведут по улицам на гильотину и который видит среди толпы Ее — которая могла бы быть его Единственной и которая не знает и никогда не узнает об этом. И наконец, нежности, с которой мать дает яд своему сыну, чтобы спасти его душу от смертоносного греха и дать ему Царствие Небесное.

Так протекали наши дни, но ведь не все измеряют свою жизнь днями — для меня это был единый духовный порыв, бесконечный ветер, устремленный в Неизвестность.

Понимала ли она меня? Что было в ее глазах, ослабленных легким безумием? Она была для меня то, что я о ней думал, но что думала она обо мне?

Но я всем потом своим, всеми невзрастенично-гнойными ранками душонки своей, перепачканными идеальностью, любил и жалел ее, видя в ней живехонький, маленький клочочек своего «я», обиженный, задерганный и одетый в эстетически-женскую форму. Поглаживая ее властительно-белую кожу на бедре (и

тихо маразмизуя при этом), я точно гладил собственное сердце. Мне было так приятно видеть себя вонне себя и в то же время хотелось пожрать этот комочек моего «я», вобрать его в себя.

Но — и здесь открывался последний акт драмы наших отношений — чем больше я желал вобрать ее в себя, сделать своей, как обнаруживал, что натыкался на что-то твердое, непроницаемое для меня, какое-то чужое духовное ядрышко. Это было нечто враждебное, упругое, какое-то «не я», от которого я отталкивался и уходил в себя.

Постепенно, сначала только в некоторые дни, я, точно очнувшись от творческого вихря любви, с ужасом стал смотреть на нее другими глазами.

В ее странной склонности к домашнему уюту и в стремлении к обеспеченности я вдруг усмотрел материализм. Я и сам не отказывался от этого, но мне показалось, что она придает внешнему не последнее значение. Выявилось также, что очень многое я не мог ей высказать и многие, многие потаенно-безумные мыслишки мои звучали гораздо космичнее в чистом Одиночестве моей души.

Зина тонко уловила мое остывание и сначала почувствовала облегчение: я уже не так мучил ее. Она стала по-детски радостней, как бабочка, выпорхнувшая из мрака. И еще больше привязалась ко мне, в благодарность за покой. Было что-то странное и дико-фантастическое в том, как среди загробности наших комнат, среди заброшенности наших шкафов и кресел, хранящих следы моих снов и падений, щебетал ее оживленный, идиотически-радостный голосок, словно она только что спаслась от бездны в самой себе и в любимом.

Да, первое время мое молчание — страшный призрак конца любви — точно воскресило ее... Бедненькая... Как ей хотелось элементарной человеческой радости, теплоты и животности... Зачем же тогда она полюбила меня?..

Все чаще атрибутом наших отношений стало не холодеющее заглядывание друг в друга, а пузатенький чайничек и, хотя весело-уютный чайник в нашей обстановке выглядел слегка с сумасшедшинкой, Зиночка и этим была довольна. Увы — ее счастье продолжалось недолго. Она с ужасом начала чувствовать, что

вместе с уходом кошмаров и видений ухожу от нее и я — я, которого она так любила, — и что расплатой за здоровый смысл становится конец любви. Тогда она страшно, по-истерически заволновалась. Помню одинокие, непонятно-оторванные от окружающего мира дни, когда мы сидели вдвоем в наших комнатах в чистом, дневном свете, который разъединял нас теперь больше, чем самый глубокий мрак; она металась по комнатам и выла: «Саша, Саша, где ты?» А я, одиноко приютившись рядом с ней в кресле, у окна, отвечал: «я ушел в свой мир».

На ее глаза наворачивались больные, точно разорванные слезы, но я холодно и жутко молчал: в отрешенно-живительном круге моего Одиночества мой мирок становился и глубже, и роднее, и потаеннее, и слаще, чем когда я выносил его на свет.

С каждым днем я уходил все дальше и дальше от нее и от поверхности жизни; это можно было сравнить с невидимым полетом, ездой куда-то вглубь; сначала еще видны легкие и дымные очертания действительности; потом, по мере ускорения движения, они мелькают все чаще и чаще, пока, наконец, не сливаются в одну далекую, безразличную черту тумана... Где мир, где Зина?! Она стала казаться мне совсем обычной, простой и понятной; я ловил себя на том, что не видел различия между ней и деревом, глядящим на нас в окно.

Вместе с потерей к ней духовного интереса я терял интерес и к ее плоти; ее тело стало казаться мне странным: оно было — по воспоминаниям — и родное и близкое и в то же время становилось далеким. Вечерами в спутанном мирочке наших комнат, в разгар моих бдений, продолжающихся по инерции, я, похлопывая по ее оголенной, прозрачно-белой спине, часто вдруг недоумевал: не по стенке ли я хлопаю. Ее тело уходило от меня в призрачную даль не моего мира.

Стараясь физически возбудиться, я визжал: «таинственности, таинственности, побольше таинственности» — и клал ее тело, перед тем как брать, в различные дикие, челепые положения; тайны — вот еще чего мне не хватало.

Видя, что со мной уже невозможно наладить духовный контакт, Зиночка впала в какую-то слабоумную решительность: иногда в отчаянном, лживом бре-

ду поцелуев она вдруг начинала кусать меня, полоумно и настойчиво, как будто желала прокусить мою внешнюю оболочку и заглянуть в душу. Кусается, а глазенки заволокутся быстрыми, бегущими слезами. Ведь все понимает.

Или вдруг начнет бормотать про себя стихи, перемешанные со своими нелепыми мыслями, да так загаллюцинирует себя, как будто вся пропасть стоит перед ослабевшими глазами.

Такая, жалкая, обреченно-оторванная, вся обращенная в себя, в свои мучения, она опять сладостно-тревожно возбуждала меня: мне казалось, что снова в ней проснулась духовность, и я радостно впивался в ее исчезающее, нежное плечо.

Но это были только истеричные взвизги, лишь оттенявшие ужас истины.

Я уже чувствовал, что отношусь к ней, как к вещи, как к чашке, которую можно разбить и не пошевелится в сердце.

Тупой холод был у меня в душе.

В конце концов я стал невыносимо груб с ней; наши связи жестоко и примитивно рвались; я уже просто орал на нее и только что разве не бил; она совсем оступела от страданий и плыла по течению. Не порывая полностью, но и не сближаясь с ней, я прямо закоснел в своем эгоизме и ничего для нее не делал.

Но чем более я был груб по отношению к ней, тем более нежен по отношению к себе... Нежность эта доходила до такой степени, что я стремился порвать со всем, что меня окружало, и непередаваемо жалел себя.

Часто, судорожно уединившись в своей комнате, я сидел у плотной занавеси окна и, чуть закрыв глаза, сочинял рассказы. Но в моей руке — в моей белоснежной, тонкой рученьке — не было пера: эти чудесные, таинственные, полусозданные творения я сочинял про себя, в замираниях, в запретном храме моей души, в полусне, не задерживая свои мысли для черновой работы, потому что понимал себя с полуслова. Я ненавидел бумагу, читателей, перо, буквы, моих друзей и моих врагов — и поэтому ничего не записывал, уединенно храня все в изгибах моего чистого «я»... Я сладострастно наслаждался тем, что никто, кроме меня, не услышит моих рассказов.

Разыгрывались изломанно-шизофранные сцены. Зиночка визжала и плакала, что, значит, она — дура, если я не хочу с ней разговаривать. Родители стучали стульями и ходили в милицию. А я строил миры. Качался легкий свет в наших комнатах, приходили и уходили чьи-то тупые рыла, мое бедное сердечко сочиняло небывалые чувства. Мне было так лучше, так непонятно-странно лучше. Мой мир рос по мере того, как я оставался один.

Зиночка уже частенько уходила от меня к себе домой, но зато по ночам ко мне стал приходиться новый, непонятный, ошеломивший меня гость. Называл я его почему-то — Юрий Аркадьевич. Тихонько так приходил, по-нездешнему.

Бывало, ночью под потным, пропитанным мыслями одеялом лежу я и чувствую только сладкое бытие — одиночество моего тела. А в коридоре, ровно во втором часу ночи, уже шаги — тихие такие, мистичные, как движение маятника. В душонке моей — в ответ — щемящее, щемящее чувство, как будто идет издалека ко мне любимая... Очень боялся его спугнуть. Тих уж он очень, и не отсюда. Отряхнет пыль со стула, подушечку для мягкости положит и сядет. Я молчу. И такое в моем мозгу просветление, как будто не существует ни Англии, ни луны, ни Зиночки, а существуем только мы с Юрием Аркадьевичем. Полное отсутствие всякой внешности. Кругом одно только внутреннее, настоящее. Как на том свете.

Юрий Аркадьевич помолчит, помолчит сначала, отрезанно себе и метафизически. Личико далекое, далекое, как у сейджей*, и на ручки свои — нежненькие, беленькие — так мистически-молча смотрит и поглаживает их, блаженно, легко и недоступно для смертных. Очень, наверное, в себя влюблены были. Потом мы беседовали. Больше он говорил, а я с замиранием слушал.

— Плохо, плохо работаете, Сашенька, — укорял он меня, — маниакальности мало. И отрешенности. На путях вы еще только к Богу-с.

— К какому Богу, Юрий Аркадьевич? — робко спрашивал я.

* Сейдж — восточный мудрец

— К внутреннему. Солипсическому. Который только в нашем «я» кроется, и больше нигде. Потому что ничего, кроме высшего «я», нет,— блаженно улыбался Юрий Аркадьевич.— И должны мы, Сашенька, этого Бога открыть и постепенно им становиться.

— А вы подтолкните меня, Юрий Аркадьевич,— сгорал я.— Подтолкните к этому Богу-с.

— Яйности, яйности побольше,— строго отвечал он.— Вы еще не открыли в себе бессмертное начало, вы не Творец и не хозяин своего мира, а просто прячетесь в него... Поэтому он у вас такой ранимый и неустойчивый. Это еще не мир, а только начало-с, капля-с... И плюньте, пожалуйста, в рожу всему человечеству. Плюньте по-серьезному, добросовестно.

Очень быстро Юрий Аркадьевич исчезали. Подавлял он прямо меня своей излученностью и солипсизмом. Чувствовалось, что они уже все грани перешли.

А я и в самом деле понимал, что многого и качественного я еще не достиг и Юрий Аркадьевич недаром меня к новым горизонтам подхлестывали. Слаб я еще был, юн, нервен и слишком зависел от внешней среды.

Иногда, чтобы отвлечься от солипсоидно-ослепительной истины Юрия Аркадьевича, я задавал себе глупейший вопрос: «кто он?» Не по сущности, конечно — я это прекрасно знал,— а по видимости? В «галлюцинативно-бредовом» он плане или в так называемом «реальном»? Если в «галлюцинативно-бредовом», то я бы его совсем уважил и, появившись он снова, в ножки ему поклонился, упал-с. Потому что, значит, они оттуда явились.

Но он мог быть и в «реальном» плане, так как в наркотично-эйфорическом состоянии я часто, забывая обо всем, говорю с прохожими на улицах и иногда дарю им свои ключи. Потом ничего не помню. Среди них мог оказаться и Он.

Кроме того, однажды видел я Юрия Аркадьевича в магазине, в очереди за галошами. Терпеливо так стоял, тихо, как все, точно скрывался. И солипсического сияния вокруг головки никому не показывал, хитрец.

Но это тоже могла быть «галлюцинация». В конце концов я решил, что «галлюцинативно-бредовый» план

и так называемый «реальный» — почти одно и то же, и глупо их отличать.

Зиночка от меня, кажется, совсем ушла. Потому что Юрий Аркадьевич ее сильно напугали. Во время одного из визитов она ночевала в смежной комнате, все слышала и раза два-три дико закричала.

У меня же от посещений Юрия Аркадьевича оставалась некоторая грусть: тоскливо мне было, что еще только на путях я к внутреннему Богу, что слаб я еще, визглив и слишком верю в реальность окружающего; чувствовал, что настоящее, кондовое — у меня еще впереди, а покамест одни цветочки.

Юрий Аркадьевич тоже прекрасно это видели и, не торопя события, стали очень и очень редко меня посещать.

Жизнь между тем по-прежнему терзала меня; я уже почти не мог появляться на улице; редко выходил на кухню, в коридор; я чувствовал большое унижение оттого, что вынужден общаться с людьми, быть с ними в метро, просто стоять около них. Вид города, автобусов, светлых фонарей унижал меня. «Весь мир должен припасть к моим галошам, а не существовать сам по себе», — был я истерически мыслями, лаская свою душу.

«Почему все не замечают, как я велик?», — злобно взвизгнул я один раз в подушку. Юрий Аркадьевич — хорошо помню — сразу тут как тут появились.

— Вымаливаете вы у мира признания, молодой человек, — сердито сказал он. — Ну как можно вымаливать признание у того, что само нуждается в вашем признании? Не вы у мира, а мир у вас должен вымаливать право на реальность.

Умом я его уже тогда понимал, но до шкуры моей — нежной, изрубцованной окружающими меня людьми — эти великолепные идеи еще не доходили.

И бегал я, и скулил, и в небесах парил, и грозился — но тяжело мне все-таки было.

Однако вскоре появилась у меня отрада. Как я раньше об этом не вспомнил — ума не приложу. Речь идет о гробиках и покойничках. Начну с того, что смерть вошла в мою душу вместе с первым поцелуем матери. Причем смерть жестокая, «атеистическая» — обрыв в ничто.

В детских снах своих, в ужасах, в исковерканных

очертаниях предметов в темноте видел я это невысказанное, все отрицающее ничто.

Потненьким, дрожащим своим тельцем и бьющейся жалкой, родной жилочкой — самосознанием своим — ощущал я разлитое во всем мире, от исчезающих звезд до придавленных мух, холодное, неотразимое, знающее свой черед, подкарауливающее ничто.

Казалось, что если после смерти, хоть раз в миллион лет, хоть на одну минуточку, выглянуть опять на каком-нибудь свете, ощутить свое «я» — то уже этим уничтожится этот безграничный ужас холодной вечности полного отрицания. Ведь никогда, никогда меня уже не будет.

Много было потом теорий, книг, диссертаций, как будто бы победоносно и навсегда освобождающих от этого тупого кошмара, но — не забудьте! — такое представление о смерти впустили в наши души вместе с первым поцелуем матери, вместе с первым утренним светом — с детства. И поэтому в глубине души оно жило во мне, как жуткое притаившееся чудовище.

Однако это только одна сторона. Ведь смерть-то была хоть и атеистическая, но все-таки тайна. Тайну они не смогли убить. И поэтому с детства в душонке моей жило молитвенное благоговение и трепет перед застывшим лицом мертвеца.

Никаких сказок, никаких песен мне не нужно было, только бы смотреть на покойничков.

И тот глубокий ужас перед ничто уходил куда-то в сторону, и, наоборот, сознание гибели лишь возбуждало ощущение тайны. Облегчалось это тем, что видел я не себя мертвым, а чужих, в то время как тот ужас перед ничто возникал всегда впотьмах, в одиночестве.

Вот эта-то сторона смерти и захватила меня сейчас по-серьезному, до кишок.

Жизнь была настолько мрачна своей безысходностью и материализмом, своей животной тупостью и ясностью, что Смерть — единственная, видимая и ощущаемая всеми, Великая Тайна, причем тайна, бьющая по зубам — являлась настоящим оазисом среди этого потока декретов, овсяной крупы, телевизоров и непробиваемой «логики».

В наблюдении за смертью было что-то глубоко интимное, мистичное, что я мог сделать своим, принадлежащим только мне... Одним словом, сплелось тут

воедино много комплексов: отрешенных и сладострастных, диких и затаенных...

Время шло уже к осени. Облюбовал я себе грязенькое, забрызганное кладбище на краю Москвы. Рядом стояла берущая за душу своей мистической обыденностью полу-столовая, полу-пивная. Приходил я туда еще поутру — всегда с томлением: будут ли сейчас покойнички? Чтобы уточнить, перед тем как зайти в пивнушку, я звонил по телефону кладбищенскому начальству. Начальство — хмурый, полупьяненький старичок неизменно узнавал мой голос и отвечал мне долго и назойливо, кто будет захоронен, в каком возрасте, отчего помер и где нашли точку для ямы. Он был убежден, что я интересуюсь этим из-за какого-нибудь важного, недоступного для его глупого ума дела. Поэтому он очень меня побаивался.

Получив благополучный ответ, я поначалу забивался в грязный, темнеющий угол столовой у низенького окошка, из которого видны были покосившиеся, готовые рухнуть ворота погоста. Заказывал себе кружечку пива и две-три килечки. Закрывал глазки и отключался.

Миры входили в меня потихонечку, вместе с острыми каплями алкоголя, теплыми своими спонтанными мыслями и тихими далекими шагами приближающейся похоронной процессии. Первая фаза моего духовного откровения проходила еще целиком в пивнушечке, в грязной теплоте, в ожидании, среди мух, жующих рож и полупомешанных от сытости кошек.

Стук надвигающегося мертвеца я предчувствовал всей дрожью своей: и в душонку мою входила непонятная, замкнутая в себе, обреченная радость. Я вдруг начинал тупо хихикать, что я вот-де живой, а он — мертвый.

Эта мысль необычайно, до нестерпимых высот поднимала самооценку, близость и блаженство моего бытия. Я тихонько гладил свои колени, упивался своим существованием, и все вокруг: потолок, кошки, стулья, жирные бабы — казались мне мертвыми и неподвижными, окружившими своей бессмысленной, враждебной стеной сладостное, одинокое трепыхание моего «я» и плоти.

На вершине экстаза я так погружался в чистоту

этой мысли, что чувствовал себя — и это было самое приятное — совсем слабоумным.

Я хихикал, обливал себя пивом, дергал кошек за хвост.

Потом начиналась следующая фаза. Умиленный, слегка пошатываясь от мыслей, я выходил навстречу похоронной процессии. Прежняя радость улетучивалась, и я теперь целиком отдавался порыву потусторонней тайны. Слегка подпрыгивая, я трусил за гробом, и мне всегда казалось, что хоронят какую-нибудь мою частицу: полноги, каплю моей душонки или просто палец.

Поэтому неподражаемо таинственный гробовой путь до ямы я ощущал как собственный болезненно-родной путь где-то в пространстве между нашим и загробным миром, когда душа уже отходит, но еще не отошла. Душонка еще не может расстаться со снами, взвизгами, плачами и видениями этого мира, который принял сейчас, в момент расставания, какой-то иной, ирреальный смысл; и я совсем по-новому смотрел на высокие деревья по кладбищенским аллеям, шум ветра в которых превращался для меня в прощальные, неслыханные песни земного мира, открывающего свой скрытый лик только перед смертью; но издалека в эту же душонку уже входил черный, непонятный ритм — загробной бездны.

Эта фаза кончалась у самой гробовой точки. Когда мертвеца ставили около ямы, я перво-наперво старался заглянуть в его лицо. Иногда в противовес великому и драматическому во мне просыпались хохотливые, идиотические силы. Мне вдруг хотелось плюнуть в лицо покойничка, иногда поднималось нелепое ожидание, что покойник вот-вот проснется и вскочит: я зажмуривал глаза и открывал: а вдруг скачет?

Но основным содержанием этой фазы была сама смерть и созерцание лица покойника.

Я упивался холодно-застывшими чертами мертвеца; мне казалось, что если я буду долго, долго до безумия взглядываться в его лицо, то сорву эту неподвижно-кошмарную, мертвую маску и увижу за ней разгадку жизни, разгадку самого себя. Сердце мое екало, природа вокруг принимала утонченную, болезненно-фантастическую форму; каждый кустик становился чертиком или Фаустом. Даже толстые, нелепые

родственники около гроба казались многозначительными. Безгранично возносился я к Престолу Великой Тайны и в извивах дорог к ней еще с большей душе-раздирательностью любил себя, обреченного. После захоронения, бредя по молчаливым тропинкам кладбища, визгливо припадал я с мольбой о жалости к зеленым деревцам, собачкам и ядреным нищим, падающим мне по пути.

Жалеют кого-нибудь оттого, что у него чего-нибудь нет: денег, ума или женщины. Но я выл не о такой жалости; теплой, безумной, сексуально-маразматической жалости к своему чистому, обреченному «я», к своему дрожащему, погибельному бытию, такому родному и такому заброшенному перед лицом непонятного мира — такой неистовой, патологической жалости просил я; но деревца одиноко молчали в ответ, собаки лаяли и разбегались, а нищие крестились и шарахались в сторону... И я понял, что эту жалость я могу получить только от самого себя и что из этой жалости должно возникнуть что-то великое...

Так и живу я сейчас, пустынно и одиноко. Почти через день хожу на свое милое кладбище. Обедаю тут же, около тайны. Меня уже все здесь знают. Родственников очередных покойников предупреждают обо мне. Некоторые очень дружелюбны и после похорон угощают меня водкой; некоторые шарахаются; другие думают, что я шпик, и отказываются хоронить.

Несколько раз бывали экстазы, когда я в слабоуменьком отупении, в вихре, уже за гранью миров, лез; расталкивая всех, целоваться с покойниками. Один старичок запустил тогда в меня галошей...

Зиночка раза два ко мне в кладбищенскую пивнушечку прибежала. Посмотрит, посмотрит, раскроет глаза, ахнет и убежит... Я с ней уже ни о чем не разговариваю...

...Зато Юрий Аркадьевич — слава богам! — опять стали меня посещать, теперь уже, правда, по утрам.

Подмигнул мне последний раз и, пристально так глядя, сказал: «а не кончается ли у вас, Сашенька, юность, и не пора ли вам отправляться в решающее, мистическое путешествие?..»

...На этом обрывается тетрадь индивидуалиста,

Дневник собаки-философа

Этот мутный дневник, запечатленный в иных сферах, чем бумага, был найден в одном из закоулков того света, куда его странным образом занесло.

Вот его содержание.

1. Всем собакам известно, что я самая глубокая собака. Глубже меня никого нет на свете. Вчера, как видно из нашей собачьей информации, маленький английский песик-вундеркинд окошел от зависти, что я — такой гениальный. А старый пес Врун, известный художник, рисующий хвостиком, от зависти укусил меня в ушко. Около десятка моих поклонников истерзали его до полоумия. То-то! Пойду греться в конуру.

2. Говорят, что все собаки соскучились по философии. Я дам им великое учение, и они успокоятся.

3. Всем собакам известно, что мир создан Собакой № 1.

То, что мы видим вверху, — это ее челюсть с миллиардами светящихся, мигающих, недосыгаемых для нас клыков.

То, по чему мы ходим, — это часть ее языка, вернее, как уверяют эзотерические учения, пупырышек на ее языке. Сама же ее плоть — и это понятно — навеки скрыта от нас. Мы никогда также не увидим самое главное — глаза Собаки № 1.

Если и увидим, то только когда сдохнем.

4. Маленькая облезлая собачонка, избитая, без одной лапы, вчера приползла к моей конуре и, надрывая мое сердце, стонала. Я облизал несчастную. Несчастливая спросила меня, почему на свете так плохо, если мир создан Собакой № 1.

Я хотел сказать, что это превосходит собачье разумение, но, подумав, ответил, что все собачки все равно скоро воскреснут и будут вечно жить в блаженстве. Для этого надо только два раза в месяц поскулить на Большой Клык Собаки № 1.

5. Вспомнил я, что по поводу вечно блаженства говорила мне одна дворняжка-софистка. Негодяйка уверяла, что, если все собачки будут вечно блаженные, от лаю некуда будет деваться и все сферы лопнут от шума.

Вчера молился Собаке № 1, чтобы в раю было больше мяса и места.

6. Очень тяжелый день. С утра меня облили кипятком. Еле приполз на помойку и там весь день облизывал дрожащую кожу. Вечеру собрался совет мудрецов: один бульдог без глаза и четыре головастые овчарки. Речь шла о вселенной. Главный вопрос был проблема зла. Говорили тихо, еле твякая, чтобы нас не слышали непосвященные собаки и не взбунтовались против самих себя.

Всем известно, что мир как явление делится на съестное и несъестное. То, что существует съестное, вполне понятно и разумно. Разумность этого лишний раз доказывает, что мир создан собакой. Но почему существует несъестное?

Мы различаем несъестное пассивное и несъестное активное, злое.

Главный представитель активного несъестного — двуногий предмет, который несет нам и пользу и гибель. Предмет, надо сказать, самый странный на свете. Я всю жизнь думал, почему Собака № 1 допустила его существование?

Однако самое злое несъестное — пожар — бывает все-таки относительно редко.

К чему бы это?

7. На совете мы все же не смогли прийти к единому заключению о причинах зла.

Под конец мы так разнервничались, что стали щериться. Одноглазый бульдог первый не выдержал и вцепился в горло овчарке, которая отстаивала противоположную точку зрения о происхождении зла. Он наверняка удушил бы ее, если бы не я, который стал скулить в ушко бульдогу о тайном милосердии, после чего он отпустил овчарку. Вообще дело все-таки кончилось потасовкой. Я ушел с разодранной задней лапой. Но на своей точке зрения буду стоять до конца, до смерти.

8. Мы говорим всем собакам: вы должны верить, что мир создан Собакой № 1 и что конечная цель его сотворения вполне разумна: то есть изобилие съестного. Именно потому что его цель — изобилие съестного, мир и создан собакой. Иначе был бы абсурд. Предположим, что цель мира — противоположное, то есть создание несъестного, то тогда мир был бы абсурден, бессмыслен и противоречил бы благу и счастью. Он был бы нетерпим с нравственной точки зрения.

Резюме: мир создан для съестного, то есть для всеобщего блага. Значит, мир разумен. Значит, он создан Собакой № 1. Значит, когда мы сдохнем, то на том свете будем есть целую вечность.

Вот логика, которая неотразима! А сколько крови пролилось за эти идеи!

9. Все это, конечно, хорошо, но налицо симптомы брожения. Многие собаки отказываются нам верить. Они не верят, что мир создан Собакой № 1. Особенно распространились эти идеи в одной области, где неизвестно почему двуногие предметы стали пожирать всех попадающихся собак. Даже те двуногие предметы, которые долгие годы держали около себя собак и любили их, вдруг пожрали своих же псов. Это действительно какой-то ужас! Весь день молился Собаке № 1.

А вечером из этой области приволоклась собачка с помутневшими глазами и без уха и такое рассказывала, что мы две ночи не спали. Между прочим, мы решили, что причина того, что двуногие предметы стали пожирать собак, абсолютно непознаваема. Это навеяло еще больший ужас.

10. Одноглазый бульдог по-прежнему верит в Собаку № 1.

Я твердо верю в то, что, если эта вера будет потеряна, все собаки сойдут с ума.

Уже сейчас известны случаи массовых самоубийств. Помойки завалены собачьими трупами. Пар и смрад идет от них высоко-высоко, к мигающим клыкам Собаки № 1.

На моих глазах плюгавенькая, с ноготок, домашняя собачонка так разволновалась от потери веры, что попросила огромного, неуклюжего волкодава перегрызть ей горло. Волкодав по глупому усердию проглотил ее всю.

В тайных кружках и сектах распространяется учение, что мир абсурден.

11. Лично я для народа всегда буду говорить, что мир создан Собакой № 1.

Но в душе...

Да, многие сейчас ищут ответ путем только одного разума.

Конечно, некоторые собаки находят забвение в деятельности, например в бегах. Бега устраиваются где

попало. Бегут все, от мала до велика. Даже дамы. Быстробегающие собаки сейчас в почете. Как философы и поэты. Некоторые, правда, уверяют, что спасет активная собачья деятельность по преобразованию мира на наш, собачий лад. Надо разгрызть все несъестное и завалить мир продуктами питания. И вообще везде настроить конуры. Вот уж воистину убудочки.

Но хватит.

Я втайне, без паники, все больше и больше стараюсь исследовать суть нашей собачьей души и тем самым понять мир.

Да здравствует разум!

12. Очень много теорий разума гуляет сейчас по свету среди собак. Я люблю эти теории. Я сам тайный создатель одной из них... Довольно распространена, например, теория, по которой в мире действуют две субстанции, съестное и несъестное, и высшая сила — это вовсе не Собака № 1, а нечто, частным проявлением которого и является съестное и несъестное. А мы, собаки, высшие земные существа, являем собой сгусток съестного по отношению к самим себе.

Некоторые теории говорят, что мир просто туманное отражение нашего лая, то есть наших чувств.

Иные рассматривают мир как самодвижение съестного до кала и от кала обратно, взад и вперед. Кал они рассматривают одновременно как начало и как конец мира, которые между собой сходятся.

Надо, однако, заметить, что сейчас, с приближением всеобщего мора, очень распространены этические учения.

Например, один фокстерьер уверял, что нам нужно замкнуться в себе, почти ничего не жрать, а главное, не лаять, особенно на кошек. Благодаря этому мы станем ближе к высшей силе.

Один пудель основал учение о сверхсобаке. Правда, многие псы его не поняли. Один кобель, к примеру, развил это учение главным образом количественно: он решил объесться, чтобы раздуться в целую корову, и окошел от переедания.

Среди неких шавок появилось учение о том, что на свете вообще ничего не существует, в том числе и собак.

13. Вчера был у этих неких шавок. Прослушал их учение. По дороге облизал маленькую, глупую суч-

ку, которая бежала из области, где пожирают собак.

14. Часто, виляя хвостом, смотрю я на двуногие предметы. Собака № 1, откуда они взялись?!

Но хорошо, что они не могут влезть нам в душу — там, в своей душе, мы свободны. Мы не знаем, кто они, они не знают, кто мы...

15. Сегодня весь день было холодно. Глодал на помойке крысиные кости. В подворотне встретил свою старую суку — Лайку. От тоски разговорились. Понюхали друг дружке зады. Она уверяет, что божественная эманация проявляется главным образом в виде слюны или, более обще, — сладости. Эта эманация исходит из рта Собаки № 1.

И взаправду слюнотечение я очень люблю.

16. Слушайте, слушайте мое последнее сообщение! С утра я наткнулся на двуногий предмет. Я не мог оторвать от него глаз. Он стоял передо мной и, пристально, тупо пережевывая мясо, смотрел на меня. Я вильнул хвостом, но его взгляд был по-прежнему холодный и зачарованный. Он подошел и вдруг дико, делая какие-то движения, заголосил.

Мне стало страшно, оттого что существует он, то есть нечто, что превосходит всякое понимание. И все-таки он существует! Нелепо огрызнувшись, я убежал. И от тоски стал бегать мимо разных странных, катящихся и точно нацеленных в меня предметов.

Высунув язык, я добежал до канавы. Труп кошки лежал у воды, и я лизнул его. Тоска, впрочем, скоро прошла. Все равно двуногие предметы по-видимому не существуют, так как они слишком непонятные. Но, если они есть, ведь и для них существует точно такое же непонятное.

Кошечка лежала головой в лужу и как будто пила из нее воду. Я осмотрелся кругом. Мир несъестного давил своим существованием, по сторонам торчали невиданные, вздымающиеся вверх палки.

И вдруг что-то ударило в меня и прошло насквозь. И вот я лежу в сыром, проваливающемся поле, и у меня, кажется, больше ничего нет, кроме головы. Но даже ее я не могу поднять.

Может быть, у меня остался только один глаз.

Я смотрю им высоко-высоко — туда... Вот мигают бесчисленные клыки Собаки № 1... Вот ее тень... А...

а... Я, кажется, слышу Ее лай, далеко, далеко, во всей вселенной... Лай Собаки № 1... Как ждал я этой минуты! Весь мир колеблется, стонет... Там, там... Мой глаз — сплошная молитва... Я, кажется, вижу Ее Огненный язык... Он поднимается над горизонтом... Выше, выше эти лучи... Выше, выше...

Живая смерть

Нас здесь четверо: я, по имени Дориос, затем Мариус, потом существо № 8 и Ладочка.

Мариус. Как мы сюда попали?

Я. Только от самого себя, только от самого себя. Поэтому-то мы и не знаем, как мы сюда попали.

Мариус. Все ты выдумываешь. У меня кружится голова — это тоже от самого себя? И мысли вылетают из головы, как птицы из рта. Когда же это кончится? Но пока все сознание кружится вокруг чистого «я», как планеты вокруг солнца...

Существо № 8. Вперед, вперед!.. Гав... гав!

Лада (задумчиво). Друзья мои, единственные, здесь плохо то, что предметы все время меняются: смотрите, вот это было креслом, а сейчас уже мертвая птица... Чернильница — то авторучка, то замурованное сердце... Как быстро... Как быстро. Все меняется и исчезает. (Хлопает в ладоши.)

Я (лежа на диване, который становится то шкурой тигра, то простыней). Когда-нибудь мы отсюда выберемся.

Существо № 8. Не забывайте, что и мы когда-то, очень давно, тоже были сковородками...

А теперь разрешите представиться более точно. Я — это я, Мариус — это мое бывшее, средневековое воплощение, а существо № 8 — это уже не человек, но он был им десятки тысячелетий назад; зато Ладочка — это молодая, белокурая, нежная, неизвестно из какого времени девушка, которая, бросив все на свете, потусторонне и неожиданно привязалась к нам.

И мы странствуем вместе неизвестно откуда и куда. А теперь мы находимся здесь.

Что окружает нас?

Меняющиеся предметы, но среди них постоянна од-

на — большая, черная груша, которая, как лампа, свисает... с пустоты.

А дальше — по ту сторону этого странного мира — бродят одинокие, спотыкающиеся люди. Они покупают в магазинах слезы, хлеб и водку. На нас они не обращают внимания; наверное, потому, что не видят нас; о, почему нас никто не видит! Нас не видит, наверное, и сам Бог. Да и как можно видеть наш мир, точно вытолкнутый из пространства, как пробка из воды... Ладочка, Ладочка, может быть, мы просто больны? Помнишь, существо № 8, наклонившись к тебе своим странным, тетраэдным телом (оно, как все мы, очень любит тебя), рассказывало тебе, что от человека может произойти длинная цепь невиданных существ, развивающихся в сфере душевной патологии, и что тайна сия велика есть. Когда ты, улыбнувшись, спросила, не идем ли мы таким путем, существо № 8 захохотало и, прыгнув на единственно неподвижный предмет в нашем мире — углубленную в себя, черную грушу, подмигнуло нам всеми своими шестьюдесятью глазами. Потом мы все поцеловались друг с другом и выпили немного вина. Ты улыбнулась, когда Мариус, взглядом, точно вышедшим из глубокого Средневековья, удивленно посмотрел на меня, свое будущее воплощение. «Он все еще не может привыкнуть», — засмеялась ты, и, как всегда, в воздухе словно задрожали колокольчики из мыслей... А ты помнишь, Ладочка, что, когда ты смеешься, как будто голубой дождь внезапно и быстро проходит по миру? Но потом ведь, знаешь, всегда опускался этот черный, глухой занавес перед всем... Почему? Разве мир театральная сцена? Конечно, да. Но чья? Кто режиссер? Помнишь, после твоего смеха, когда опускался занавес, мы ничего не видели, все было скрыто, и мы сами цепенели, коченели в одних позах, точно на время превращались в статуи. Потом, когда все проходило, ты первая опоминалась, вся в слезах, и говорила, что никогда уже не будешь смеяться этим своим голубым смехом, чтобы потом не захватило нас подобие смерти.

Но мы, успокаивая тебя, сразу говорили, что все равно лучше еще хоть один раз услышать твой смех... Только существо № 8 забивалось в наш вечно магический угол и выходило оттуда с колпачком на носу...

Но хватит, хватит воспоминаний. Мы ведь по-прежнему здесь.

Лада. Смотрите, смотрите, все предметы стали неподвижны; они не меняются; но кресло, где я сижу, так и осталось мертвой птицей...

Существо № 8. Кар-кар!!

Мы с Мариусом подходим к гигантскому окну: по все равно ничего не видно сквозь сплетения зеленых, умирающих змей, свитых, как тюремная решетка. У них часто с мгновенной, как писк мыши, но таинственной музыкой отваливаются маленькие, точно человеческие на фотографии, головы; весь пол у окна усеян ими, как вкусными объедками.

— Друзья,— обращается к нам Лада,— давайте, прикорнув друг около друга, выпьем немного нашего душистого, тропического чая; пока еще нам так хорошо; а ведь скоро начнется первая жуть.

— Да, да,— всполошилось существо № 8, подтягивая свои странные штаны,— скоро начнется.

Мы собираемся в один кружок на малиново-черном ковре, бывшем до этого волосами гигантской, еще не родившейся женщины. Существо № 8 пристраивается налево от Ладочки, но так, чтобы не мешать ей острыми углами своего нечеловеческого тела, Мариус — направо, чтобы не умереть оттого, что не будет видно Ее лица. Мы все недалеко друг от друга, и небольшой круг, который образовался внутри нас, светится, словно отражение затерянного в высоте Лица Неведомого. Лада, опустив в это отражение свои тонкие, гибкие, как мысль, руки, разливает нам чай.

Лада. Ведь мы уже давно не люди; в нас нет ничего от человеческой простоты и животности; но этого мало; что с нами будет?.. Скоро начнется первая жуть, потом еще и еще... Мне кажется, что у нас уже скоро никогда не будет этих светлых промежутков, когда воеет механическая сова, вяло падают на пол головы с умирающих змей, одна за другой меняются вещи, кроме вечно неподвижной, закрывшей веки груши, и когда мы беседуем, как выбраться отсюда... Скоро не будет этих светлых промежутков... Будет все хуже и хуже...

Мариус. О, как мне хочется вновь очутиться в моем милom, глубоком Средневековье... Только я обязательно взял бы вас всех вместе с собой: без вас я не могу;

мы жили бы в моем родовом замке; существо № 8 сошло бы за какое-нибудь индусское привидение; мы сидели бы вместе у окна, из которого виднеется лесная дорога, по ней не раз отправлялись рыцари славить Бога...

Мы все. Мариус, Мариус, а что такое Бог?!

Мариус (улыбнувшись). Ну тогда дорога, по которой рыцари уезжали славить Возлюбленную... Мы пьем у этого окна вино, где-то в лесу сжигают еретиков, воет ветер, и мы читаем Апокалипсис... Но нам хорошо, хотя немного страшно... Славное, старое время.

Я. Да; скоро наступит первая жуть.

Мариус. Мы все говорим одним языком; это страшный знак единства.

Существо № 8. Я никогда не смогу попасть в Средневековье; потому что я слишком давно, десятки тысяч лет назад, был человеком...

Мы на минуту замолкаем; и Ладочка, улыбнувшись, целует всей своей душой существо № 8. Целует в один из его шестидесяти глаз... И у существа № 8 от этой нежности вдруг сразу начинаются галлюцинации... Почему, чем дальше от человека, тем любовь становится все больше и больше?!

— Первая жуть не так уж страшна,— замечает Лада.

И вот наступает. Сине-зеленый свет падает на наш мир и на наши лица. Мы немного мертвеем и уходим в себя. Внезапно я чувствую, что какая-то сила начинает вытягивать из меня мое сознание; вытягивать, кажется, через темя, какими-то длинными, невидимыми, но цепкими щипцами. Вдруг — раз, и уже нет сознания, и я почти неживой, точно болванчик, замерший в позе Будды где-то на заборе.

И я вижу, что то же самое с моими друзьями — Мариусом и существом № 8. Только Лада, бледная, еще держится. И мы все видим, как прямо перед нами сидят на шкафу и лихо играют на гитаре вытянутые из нас три сознания, превратившиеся точно в такие же существа, как мы.

Мы все — там, на шкафу, но внутри себя — нас нет!

О, как мучительно видеть себя извне и не чувствовать внутри! Мы, как пустые, выпотрошенные болванчики, смотрим на самих себя, бренчащих на гита-

ре, смотрим, как на отделившихся, чужих существ. А сами мы — почти нуль. Наши глаза стекленеют от пустоты, но мы словно замороженные смотрим на самих себя. Почему они там, на шкафу, эти наши отделившиеся «я», дергаются не по нашей воле; почему они совершают какие-то непонятные поступки?

«Я на шкафу» болтаю ногами и щекочу брюхо Мариусу; Мариус заливается диким хохотом; «существо № 8 на шкафу» выглядит свиньей, ищущей в потемках Небо.

«Мы настоящие» цепенеем и ждем. А «мы или они на шкафу» кривляются, дергаются в странной, непотребной ласке и хватают с неба невидимые апельсины.

А у «существа № 8 на шкафу» вдруг появляется где-то в прозрачной глубине его тетраэдного тела туманное лицо человека. Потом оно вдруг исчезает, и в существе № 8 выделяется ангельский лик.

— Давайте их убьем, — вдруг говорим «мы на шкафу», указывая на себя настоящих.

«Они на шкафу» смотрят на нас своими пристальными, сумасшедшими глазами; и мы впиваемся так друг в друга, покачиваемся и сидя чуть приплясываем вместе со всем нашим выкинутым миром.

Кажется, все безумие голого существования смотрит на самое себя и, сплетаясь с самим собой, порывается разгадать тайну. Да, да, мы хотим броситься друг другу в объятия. «Они на шкафу» даже напряглись, словно готовясь к прыжку. Хотим броситься, но не можем... Может быть, они, там, опять уговариваются убить нас. В это время с мертвой птицы встает бледная, изможденная Лада. Она — одна, не отделенная. В ее руке — бокал вина. Она медленно обходит каждого из нас, настоящего, целуя в губы. И «те на шкафу», точно замороженные ее неземной нежностью, начинают белеть, исчезать и со свистом входить в нас настоящих. К нам понемногу возвращается сознание; но это далеко не все; мы сидим полуоглушенные; а там на шкафу видны еще бледные контуры нас самих.

Мариус. На этот раз было слишком ужасно... Почему ты не поцеловала нас раньше?

Лада. Какой был смысл?.. Я сама чуть не погибла, отделившись. Мне нужны были силы и время, чтобы собрать в единый порыв, в единые три поцелуя, всю

свою нежность... потому что только такой сверхчеловеческой, потусторонней нежностью, которая граничит с безумием, можно было смирить их... или, вернее, те мрачные силы, марионетками которых были те, на шкафу...

Я (потрясенный). О, это не был поцелуй женщины!

Лада (смеется). Поцелуй только женский может воскресать лишь...

Существо № 8 (бормочет). О, наша колдунья... Гав, гав...

Мариус. А те призраки все еще сидят на шкафу.

Лада. О, не будем обращать на них внимания; они такие бледные; и скоро исчезнут; правда, один чего-то урчит.

Я. Ха-ха... А предметы опять начинают подмигивать и перевоплощаться. Значит, дело идет к затишью.

Мы все понемногу успокаиваемся. Только наши призраки на шкафу начинают млеть и, извиваясь, целовать стенки, как будто они лезут на них.

Где-то за окном, увитым змеями, появляются безразличные, говорящие сами с собой фигурки людей.

Предметы меняются нежно, осторожно. Ладочка странно корректирует их изменения движениями рук.

Но во всем чувствуется болезненность, как после тяжелого приступа. Даже какая-то постоянная, вечная болезненность. И все-таки что-то начинается, вздрагивает, происходит.словно непрерывно Кто-то Большой и Невидимый варит свое вечное, мировое месиво. Пространство вдруг наполняется нашим растекшимся, унылым и безразличным полем сознания.

И мы точно бродим в своем, ставшем индифферентным и огромным, разуме. И только внутри нас его самые родные, последние остатки борются с неизвестным.

Иногда с визгом проносятся какие-то сгустки наших прежних мыслей; затем юркие, слабоумные, оторвавшиеся и теперь странно существующие сами по себе наши похоти и ассоциации.

— Они дерутся,— обиженно сказал Мариус.

— А нам на все плевать,— махнуло «рукой» существо № 8.

И действительно, это не было так катастрофически ужасно, потому что рядом жила Лада.

Может быть, она была для нас отделившаяся нежность Творца...

И мы, ни на что не обращая внимания, говорили только о ней, думали только о ней, и она присутствовала в нас даже тогда, когда наши мысли были заняты другим. Сумеречность и высшая внереальность наших отношений усиливалась еще тем, что у нас, точно мы были не от мира сего, полностью отсутствовала ревность. Но главное — везде, во всех уголках нашей души, была разлита атмосфера нездешней, немного даже истерической нежности; это был то тихий, тайный, то надрывный, поющий поток Нежности, который ни разу, ни на одну секунду не прерывался ни грубым словом, ни холодом рассудка, ни жестом, ни невниманием. И именно эта страшная непрерывность, точно указывающая, что нет сил выше этой нежности, создавала такой торжествующий, вечный, замкнутый в себе духовный сад. Это было состояние какой-то бредовой влюбленности.

Лада. Ну что же, друзья, еще далеко не все кончено; и, смотрите, наше прошлое растеклось по всему пространству; оно грозит, оно есть.

Мариус. Ну и пусть. В конце концов мы тоже прошлое.

Я. Ладочка, тебе удобно? что за черт притаился там у тебя под боком?

Лада. Да он полумертвый.

Существо № 8. Болит голова.

О, это состояние бредовой влюбленности воздвигало реальную, хотя и до боли в сердце хрупкую стену между нами и полной катастрофой.

Каждый словно прятался в душе Лады, прикасался к ней, спасаясь от судорог распада. В то же время каждый из нас хотел умереть в ней, видеть себя в ней мертвым, видеть в ее теле свой синий, поющий неслышные песни труп... Вся наша душа горела и оживала — когда мы касались Ладиных рук, мыслей, улыбки. А она называла нас «недобогам» и, ничего не делая, спасала нас.

В конце концов мы, пьяные от наших оторвавшихся мыслей, от этого визга, от то и дело появляющихся дурных, но не имеющих ни к кому отношения призраков, часто думали: какую связь имеет этот распад с

нашей потусторонней влюбленностью? Этот бредовый дуализм совершенно расшатывал нас.

— Смотрите, смотрите, — вскрикнула Лада. — Я погрозила им, и они скрылись... Ваши двойники на шкафу... Только от призрака Мариуса осталась одна рука; которая машет нам из пустоты... Прощайте, прощайте, невидимые!!

Я. О, какой высокий... Вот этот в углу... Мариус, подойди сюда... Ты знаешь, около него невозможно жить. Становишься истуканом, играющим сам с собой в прятки.

Лада. А есть кому скрываться?

Существо № 8. Мы и так скрыты.

Мариус. Скоро будет другая жуть.

Когда наступала эта другая жуть, я часто думал: было ли распадом то, что происходило с нами?? Может быть, мы просто были платформой для чудовищной пробежки других сил??

На этот раз она была последняя. Ладочка всегда начинала светиться, когда чувствовалось приближение. Она становилась как сомнамбула, ходила среди нас как в слепоте и, улыбаясь, спрашивала: «Это Дориос, это ты, Мариус, это ты, существо № 8». Точно она всеми силами старалась что-то сохранить в себе... для нас... Ее лицо блуждало и улыбалось неизвестно кому. Иногда только мы присаживались, чтобы выпить вина.

Скоро стало совсем непонятно: то ли мы были пылинками, то ли мы были богами?

Мигом все внешне бредовое: меняющиеся предметы и тот высокий — убралось, точно скатавшись, и спряталось неизвестно куда... Может быть, в нас... И вот тогда-то существо № 8 залаяло. Нет, мы не могли ему помочь! «Это» — внутри — распирало нас так, что мы были сами по себе. Только наша прежняя влюбленность связывала нас с бытием. Я не помню, сколько раз поцеловала меня Лада. И вечная потусторонность этих поцелуев, в которых не было даже намек на удовлетворение, возносила меня над разрушающимся земным сознанием.

Но куда? Можно ли связать нежность с метафизикой? Для нас это был праздный вопрос. Ибо только светящаяся нежность, исходящая от Лады, указывала нам выход из этого мира...

А нас разрушало и разрушало. Я не только чувствовал, что вот-вот лопнут сосуды в моем мозгу,— но и странные, чудовищно-игривые силы выталкивали меня из себя... Другие, внешние силы словно белым саваном накрывали мое сознание, и оно барахталось в невидимом, как мышь в руках Бога. Иногда само мое сознание становилось грозным и раздутым и точно ожидало конца самого себя, распуская вокруг последние флюиды. То какие-то совсем враждебные Власти поднимались со дна моей души и, как поднятая кровь в сосудах, билась о стенки моего «я», пытаюсь разорвать его в клочья. Иногда — прямо во мне, а не в углу, как было раньше — возникал этот высокий, и его тень поглощала мое бытие...

Но эта бредовая влюбленность! Она жила, она существовала... Как в тумане Ладочка проплывала мимо нас... И хотя внутри нас самих бушевали таинственные, точно спущенные больным богом силы — ее улыбка опять зачаровывала нас, и весь этот жуткий мир окутывался призрачной, но спасительной пеленой. Странная метафизичность этой нежности поднимала наше сознание над бушующим морем непонятного... Ее нежность точно говорила: я тоже непонятна, но моя непонятность обращает смерть в торжество.

А чем была та, другая непонятность?

Увы, она была нашей гибелью.

Я взглянул на Мариуса: он почернел и существовал только как равновесие выталкивающих его сил.

Внезапно стало темно, и все ужасающе притихло. Наш мир вдруг принял вид пыльной, старомодной комнаты, но в которой по углам, как холодные лампы, стояли застывающие, бывшие призраки. Несмотря на странно-обычную обстановку, нас поглощало ощущение исхода, точно бредовое для завершенности сгустилось в обычное и готовилось к последнему прыжку.

Вдруг раздался сломленный голос Лады:

— Все кончено, друзья... Волею судеб у меня иссякли силы... Вы никогда не спасетесь... А я исчезну... Потому что так свершилось... Я буду, может быть, солнцем, может быть, травой, может быть, даже женщиной, но никогда не буду Ладой, вашей Ладой... Да, у нежности тоже иссякают силы... Этого знака, этого символа мало, чтобы победить такое... Нежность несоединима с познанием, но ведь и познание без неж-

ности мертво... Мы в круге... Нежность несоединима ни с чем, и в этом ее гибель... Она нужнее всего, но она неуловима... Прощайте, я, Лада, гибну... Если вы когда-нибудь и увидите меня, даже перед самым концом, — это уже буду не я.

И она исчезла. Мы остались недвижно лежать и грезить в темноте, покрытые с головой тяжелым, пропитанным трупными выделениями сукном, которым накрывают мертвых.

Только вместо существа № 8 в кресле лежал съжившийся портфель; в нем были оборванные листки: записки сумасшедшего.

Управдом перед смертью

Управдом Дмитрий Иванович Мухеев заведовал целым скопищем домов; большинство домишек были маленькие, покосившиеся не то от страха, не то от хохота; и народу в них жило видимо-невидимо, так что было впечатление, что домишки слегка дрожали, как толстые подгнившие дубки во время приближающейся грозы. Среди них угрюмыми серыми великанами вышались два семиэтажных дома; грязь ливнем стекала с их крыш, заливая стены и окна водянистыми, слезливыми пятнами. Серость проникала через окна в комнаты-клетушки, погружая их в сошедшее с ровных небес скудное одиночество. Народ в этих местах жил шальной и бывалый; и, несмотря на одиночество, крик здесь стоял день и ночь; сами людишки носили тут печать особой, животной индивидуальности, были тяжелые, с расплывающимся мешком вместо лица, на котором сидели, правда как ненужные наросты, два тупо блестящих выпученных глаза; были матерно-активные, деловые, как бегущие, сами не зная куда, лошади...

Вот в такой-то среде и прошла жизнь Дмитрия Ивановича, день за днем, в солнце, в криках и сжимающей сердце тишине.

По своему общему мировоззрению (а такое есть у всех людей) Митрий Иваныч был не то чтобы сознательный атеист, а скорее, как большинство, «ничевок», то есть он не имел понятия ни о самом себе, ни о том, что его ждет после смерти. Вопросительная пустота окружала его душу; пустота, о которой он не думал, но

которую чувствовал; а для пустоты самым подходящим словом было «ничего».

Быстро пролетали года, и он не заметил, как ему стукнуло пятьдесят лет; детей у него не было, а единственного близкого ему человека, жену Варвару, с малолетства прозывали «шкуррой» за то, что она была то непонятно нежна, то по-крысиному жестока, неизвестно почему. Нежна она была попеременно к мужу, к естественно инфантильному, кружащемуся около помоев, забитому мальчику, к прохладной, чистой воде из колодца и к своим полным, белым грудям. Жестока же она была ко всему остальному, что вне ее.

Митрий Иванович провел свою жизнь энергично; энергично любил жену, энергично ее разлюбил, но самое большее, что он делал,— это работал. Работать как вол, даже как раб, ему нравилось.

После каждого тяжелого рабочего дня, поздно вечером, он, распахнув крыльями руки, пританцовывал на одном месте.

Грязь сыпалась с него, как перхоть.

В каждом аккуратно сбитом сарае, в каждой гвоздочке, в каждом залатанном домике была его рука, точнее, его руководство. Но все это как-то терялось в общем гаме и переменах, и Митрий Иванович часто думал: мое или не мое? Иной раз только что поправленная по его хозяйскому глазу крыша выглядела сурово и отчужденно, точно и не Митрий Иванович ее поправлял.

Бывало, что и тоска нападала на него; особенно не любил он предчувствий, но предчувствий не по какому-либо поводу, а предчувствия вообще — холодного, смутного, сидящего где-то в голове, посреди мыслей; он даже дергал головой то влево, то вправо — чтобы вытряхнуться. Старушка Кузьминична — мать Варвары — называла такое предчувствие: от Господа.

«Господь-то не оставляет тебя, Митрий», — мило-стиво говорила она зятю.

Пить Митрий Иванович не пил; на Руси это большая редкость.

Объяснял он это так: «Серый я человек, чтобы пить. Водка ведь напиток ангельский. Ее люди чистые пьют, с детской душой. А я черненький — весь в гвоздях и в рамах перевыпачкался».

Это были самые глубокомысленные слова за всю

его жизнь; вообще он больше молчал или говорил матерно-деловые, целенаправленные слова.

Так и проходила его жизнь — свет за светом, тьма за тьмой.

Смерть подошла незаметно, когда ее не ждали, как надвигается иногда из-за спины тень огромного человека.

Сколько раз, еще в детстве, он видел, как на его глазах умирали люди от этой болезни — от рака. Но ему не приходило в голову, что это его коснется. Умирали по-разному: кто проводил свои последние дни во дворе, разинув гниющий, предсмертный рот на солнышке, точно глядя на него таким образом; кто, наоборот, — в смрадной, темной комнате, на постели, закрывшись с головой одеялом, дыша своей смертью и испарениями; кто умирал тоненько, визгливо и аккуратно, даже за день до гибели прополаскивая исчезающий рот; кто — громко, скандально, швыряя на пол посуду или кусая свою тень...

И Митрий Иванович тоже прочувствовал смерть по-своему, по-мухеевски.

Когда он совсем захирел и не на шутку перепугался, то поплелся в поликлинику, в самую обыкновенную, в районную.

Поликлиника со своими длинными одноцветными коридорами скорее напоминала казарму, но казарму особую, трупную, где маршировали и кормились одни трупы, а командовали над ними жирные, сальные и страшно похотливые существа в белых халатах.

Наплевано было везде, где только можно, и от тесноты люди чуть не садились друг на друга. Были, правда, какие-то странные тупики, где ничего не было, ни врачебных кабинетов, ни туалета; иногда только там маячили призрачные, мечтательные фигуры, почесывались.

Из кабинета в кабинет то и дело шмыгали врачи и сестры; Митрию Ивановичу стало страшно, что от этих типов и от всякой аппаратуры, стоящей по углам, зависит его судьба. Он почувствовал дикую слабость, и от этой слабости он ощутил свое тело совсем детским, хрупким и призрачным, как у малолетнего ребенка; он всплакнул; сладенькая дрожь разлилась по всему телу; а сердце — родное сердце — колотилось так, как будто билось высоко-высоко, у самого сознания.

Точно просящий помилования, жалко улыбаясь, он вошел в кабинет.

Врачиха была толстая и еле помещалась на стуле; она покачивалась на нем, как болванчик. Работала она грубо, остервенело, точно стараясь как можно скорее добраться до истины, до диагноза, Митрий Иванович аж вспотел.

Диагноз, видимо, ей не понравился; она чуть было не выругалась по-матерному.

Когда несколько крикливых врачей в рентгеновском кабинете громо брякнули «канцер» (слово «рак» было запрещено говорить), а шепотом между собой добавили, что хоть опухоль небольшая, но в таком месте, что совершенно безнадежна и скоро наступит крах, Митрий Иванович все понял, понял, что конец. Он и раньше, когда трухнул, об этом догадывался. Но после приема, выйдя на улицу, он вдруг почувствовал прилив сил. Скорее не физических, а нравственных.

«Ни хрена, пустячок», — как-то тупо и неожиданно для самого себя подумал он. А что, собственно, было пустячок?

«Ни хрена — пустячок!» — опять тупо, озираясь, подумал он.

А дойдя до скопища домов, которыми он управлял, Митрий Иванович совсем оживился, как гнойная муха от дуновения тепла.

— Они меня переживут! — истерически взвизгнул он и даже почувствовал облегчение.

Он вспомнил виденное им когда-то изречение на могиле академика Марра, что человек живет в своих делах, а не в самом себе (и поэтому единственный смысл жизни — наделать как можно больше всяких дел).

— Дяла, дяла, дяла самое первое! — закричал Митрий Иванович и замахал шляпой своим домишком. Какие-то хохотки преследовали его по пятам. Но он сначала не обратил на них внимания.

Подбежал из последних предсмертных сил до покосившегося домца; глянул в оконце: Вася, пол-то какой, пол! Я его переделывал.

Вася показал пьяный кулак.

Митрий Иванович чувствовал, что, во-первых, ему не надо думать, а во-вторых, не надо видеть близких, потому что они могут заглянуть в него; а что сейчас са-

мое главное — бегать вокруг своих домов. Насколько ему позволяли остатки сил он и семенил, то вокруг одного домишки, то вокруг уборной и помоек.

Помахивал им шляпой, заговаривал с ними. Особенно долго задержался вокруг одного сарая, который был воздвигнут по его личному указанию.

...Просветленный, он пошел в свою контору.

Был конец работы, и за столом сидел только угрюмый, по-шизофренически вечно смотрящий на часы счетовод Прохоров. Митрий Иванович посидел, глянул в дома, да и ляпнул:

— Умный был Марр, академик, деловой.

— Деловой-то, деловой,— строго ответил Прохоров,— да глупости одни наделал.

— Как? — ухнул Митрий Иванович.

— Ты что, иль не знаешь? Ерундовой его теорию признали, гроша ломаного не стоит.

Мухееву стало страшно; в животе по-темному заскребло, а перед душою закачалась пустота.

— И во всем мире? — невнятно спросил он.

— А в других местах его и не знал никто. Я книжки читаю. По ночам.

Мухеев плюнул и упырчато подумал: да, теория не дома.

Но неопределенный страх млеял в душе. «Главное — не думать», — пискнулось где-то в глубине.

— Ну как, Митрий Иванович, куда денемся, когда дома сносить будут? — услышал он перед собой голос Прохорова.

— Как сносить? — ужаснулся Мухеев.

— Да ты что, ошалел, что ли, сегодня? Забыл, что все домишки сносить будут?

Мухеев и вправду забыл. Забыл на тот период, когда нужно было забыть. А сейчас поневоле вспомнил. Впрочем, вспомнить не сегодня, так завтра все равно бы пришлось. Сносились все домишки, кроме двух семизэтажных, те хоть растреснутые, но только отремонтировались. «Куда идтить,— подумал Митрий Иванович,— все пропало, все дяла исчезнуть», — и покачнулся от стремительно открывшейся ему черной бездны.

— Ай-яй-яй, опоры нигде нет, опоры против смерти,— мелькнуло у него.

Тихохонько, еле ступая на ногах, как ходит начинающий передвигаться младенец, растопырив руки,

точно подыскивая опору в воздухе, он выполз из конторы.

— Семизэтажники остаются,— бормотал он вслух,— но все исчезнет, рано или поздно, как пот от пальцев... А что останется, так ведь все равно — не мое, чужим станет; и память обо мне — чужая память, а не моя; они — даже обо мне вспоминая — моим именем жить будут, они будут — а не я.

Он почувствовал дикую злобу к людям, которые будут помнить о нем после его смерти, злобу к самой памяти о нем, которая будет принадлежать другим, а не ему, точно в издевательство над самой идеей бессмертия.

Проюлил около огромного, темного семиэтажного дома; вот — помойка; вот — горшки на окне; а вот тень — огромная, черная. Почему сейчас все обычные вещи стали такими жуткими? Митрий Иваныч остановился. Его лихорадило, но он продолжал хрипеть:

— И как это я искал спасения в делах и вещах? Ну вот дом. Ты стой не стой, будь не будь, все равно — ты мертвый; как может живое искать спасения в мертвом?

И вдруг сзади него раздался хохоток, тот самый, что он слышал недавно, но не обратил внимания; живой такой хохоток, детский, но странный; с нежными переливами, как у соловушки, и изгибами и взвизгами, как у сладострастного старичка.

Митрий Иваныч оглянулся, и чья-то, юркая тень взвилась змеей за забором.

Отупев, слегка обмочившись, Митрий Иваныч побрел домой. Дома никого не было. Бросившись мокрым от страха брюхом на диван, Митрий Иваныч разрыдался. Ужас был настолько силен, что он заснул, инстинктивно уходя от гнета сознания.

Прошло несколько часов квази-небытия, и вдруг Митрию Иванычу стали сниться сны. Ласковые такие, теплые, будто кто-то его по головке гладил. И снилась ему его жена, Варвара Петровна, но не та Варвара Петровна, которая была сейчас,— а в годы восхода любви их, нежная, в искренности и точно убаюкивающая и уводящая его далеко от мира. Ему показалось во сне: что то, случившееся наяву: смерть — ему приснилась, а по-настоящему реальна только эта любовь, от которой нежнест душа и кровь. Он и проснулся с

таким чувством. Оглядел серый и могильный в своей обычности и постоянстве уют комнаты. Было уже утро.

«Но улю-лю, улю-лю; скоро придет Варя,— подумал он и улыбнулся: — Что это со мной?!»

Смерть точно отодвинулась по ту сторону мыслей, а жить стало легко-легко и не страшно только потому, что существует Варя, как бы взамен собственного существования. «А я ведь ее люблю»,— со светлой тупостью подумал он. Вся прежняя, долголетняя ненависть и равнодушие позабылись, точно родилась новая Вера. «Любимая, Варенька»,— весь дрожа, слезящимся голосом пропел он и поцеловал ее старую, запыленную фотографию.

Между тем Варенька слегка подшофе возвращалась из пивной. Настроение было уютно-подпрыгивающее, потому что еще раньше, встретив на улице районного врача, она услышала, что Митрий Иванович наверняка умрет. Она сначала почувствовала даже жалость к нему, но — объективно, по ряду внешних причин — ей было бы лучше жить, если б Митрий Иванович умер, и эта холодная, торжествующая объективность беспощадно вытесняла и отбрасывала жалость. Жалость была как бы сама по себе, а объективность сама по себе. «Мне его, конечно, жалко, но как было бы хорошо, если б он умер»,— подумала она.

Чтобы утеплить свое нутро и мысли, она и юркнула, как старый, толстый червь, в дверь-норку влажно-густой пивнушки.

Там за столиком, между сумасшедше двигающимися людишками, но как бы отделяясь от них, впитываясь в себя, Варвара, прихлебывая, точно собственную кровь, пиво, мусолила открывающиеся перед ней перемены. Под конец она даже почувствовала любовь и благодарность к Митрию Ивановичу за то, что он умрет.

В таком настроении, с влажно-змеинными, добрыми глазами, она пришла в свою комнату.

От счастья Митрий Иванович окончательно просветлел под Варвариними ласками и нежными словами. Смерть была далеко-далеко. Совершилось таинственное вознесение силой любви и перенос бремени жизни. Поглядывая на его запыхавшееся, красное лицо, блестящие глазки, нежный и искренне преданный взгляд, Варвара недоумевала, почему сейчас, перед смертью,

на него нашел стих любви, да еще такой необычной, духовной.

Но так как все это ее совершенно не интересовало, то она отмахнулась от поисков ответа. А Митрий Иванович расцвел. Подложив подушечку на стул, усадил Варюшу на мягкое. Из последних, предгибельных сил бросился на кухню разогревать чайник. Шатаясь, принес ей, слегка расплескав, стакан горячего чая, но сахарку не рассчитал и от притока любви положил слишком много, переборщил, так что Варвара Петровна недовольно поморщилась и хотела было матюгнуть Митю, но воздержалась. А душа Митеньки находилась в каком-то сладостном, далеком от земного веселии.

Он юлил и то хотел уложить Варвару Петровну отдохнуть на диванчик, то начинал вытирать пыль, чтоб помочь ей убраться.

Варвара Петровна молчала.

Но, когда Митрий Иванович совсем расхрабрился и начал было из потрепанной книжицы читать ей стихи о любви, она выругалась: «обормот!» Однако ж Митрий Иванович принял это не за свой счет, а за счет дальнего, живущего у темной уборной соседа. Лицо его по-прежнему было добренькое и легкое, как у ангелочка...

Варваре Петровне иной раз становилось опять жалко его, и сжималось сердце, но в душе все равно холодно и равнодушно думалось: «Хорошо бы умер».

— Митя, скоро перевозка приедет; врач договорился; в больницу тебя возьмут, на поправку, — спокойно сказала она ему.

Митрий Иванович подскочил:

— Не хочу, не хочу! — и замахал рукой.

— Почему, Митя? Тебе лучше будет: уход там хороший и снотворные, — удивилась Варя.

Митрий Иванович засеменял.

— Что мне уход? Мне лишь бы ты была рядом, Варюша; со мной — у тела моего, у души, — взвизгнул Дмитрий Иванович. — Рядом! — и он протянул к ней жадные, просящие руки: «Не покидай».

Как раз в это время раздался у окна пронзительный вой санитарной машины. Митрию Ивановичу показалось, что если его оторвут от Вари, то он непременно умрет, умрет в сознании своем еще раньше, чем на самом деле, потому что не будет непонятого, таинственного заслона от гибели — любви.

Он заплакал. «Не покидай»,— пробормотал он сквозь слезы.

— Что же, я с тобой в больницу поеду? — ответила Варя.

Митрий Иваныч засуетился и захотел было спрятаться в угол, где раньше стояла кровать, на которой он впервые познал Варину любовь.

— Я к тебе приходить буду. Ты там выздравишь,— приговаривала Варвара Петровна, собирая его вещи.

Тем временем вошли равнодушные, как пакли, санитары.

— Ишь больной какой пряткий,— сказал, правда, один из них.

Слово «выздравишь», произнесенное Варварой Петровной, немного смягчило Митрия Иваныча, но предстоящая разлука с женой казалась невыносимой. Однако все произошло так быстро и автоматически, что Митрий Иваныч не смог прийти в себя. Неожиданно он застеснялся плакать при санитарях. По-настоящему опомнился он уже у машины, когда его втискивали туда, а рядом стояла в платочке, поёживаясь от теплого солнышка, Варвара Петровна.

Он почувствовал, что его отрывают от источника жизни, теплоты и забвения.

— Варя, приходи, приходи скорей, а на память сейчас дай чего-нибудь,— жалко выговорил он из-под туловища огромного санитаря.

Варваре Петровне, задумавшейся о своем, послышалось, что он просит кушать. Тяжело вздохнув, она возвратилась в дом и, оторвав от вареной курицы, которой она хотела завтра закусывать водочку, пупырчатую ногу, принесла ее в бумажке Дмитрию Иванычу. Дмитрий Иваныч от умиления и слабости расплакался. «Смягчи последней лаской женскою мне горечь рокового часа»,— мгновенно вспомнил он кем-то оброненные на улице слова неизвестного ему поэта.

Отдышался он уже в больнице, в палате-каморке, на чистой, но грозной в своей чистоте постели. По углам разговаривали со своим уходящим «я» больные.

От слабости Митрий Иваныч уснул и проснулся утром от игры солнечного света и оттого, что рядом шумно мочились.

Его осматривали врачи, ворочали и ухаживали.

Веселые сексуальные сестры, казалось, только жда-

ли смерти больных, но не из удовольствия, а просто из бессознательного чувства прогресса. Раз человек тяжело болен, думали они, значит, следующим пунктом должна быть его смерть. А ведь у женщин чутье, естественно, развито больше всего. Одна сестра даже заболела, если кто-нибудь упорно не умирал.

Но Митрию Иванычу было на все наплевать; он жил ожиданием прихода Вареньки; без нее, в этой больнице, среди чужих умирающих и здоровых чужих, он чувствовал себя отрезанным, выброшенным на пол ломтем. Но тем живее, как трепет света, жил он образом Вареньки.

Гадал, о чем она думает, что делает, как нежится в постели. Он и сам не вникал, почему сейчас, перед смертью, когда ему пошел уже шестой десяток, он вдруг за один день стал так романтичен, как не был даже в дни молодости и любви.

Но Варенька не пришла и назавтра, не пришла и потом. Она хотела прийти и даже слегка нервничала из-за этого, но никак не могла собраться.

Дело в том, что в первый же день после отъезда Дмитрия Иваныча она здорово напилась с одним чистеньким, очень отвлеченным от страданий мужиком. Закусывать пришлось лишь курицей, и то без подаренной пупырчатой ноги, а Варвара Петровна очень любила поесть, особенно масленое. Ее развезло. А наутро она собиралась было пойти, но отвлеченный от страданий мужичок не давал ей покоя в смысле любви. Он почему-то весь обслюнявился, но Варваре Петровне было так радостно, что она то и дело весело ржала и дрыгала ногой.

Конечно, можно было пойти вечером (к Митрию Иванычу, как к тяжелобольному, всегда допускали), но Варваре Петровне стало лень, и к тому же после разгула ее всегда тянуло выпить кружку пива и сходить в кино. ...А в последующие дни она не пошла по приятной инерции.

...Митрий Иваныч плакал в своей кровати; он зарылся головой в подушку и рыдал; окружающие думали, что он плачет, потому что знает, что скоро умрет, а Митрий Иваныч плакал от неразделенной любви.

Потрясение, испытанное им из-за того, что Варвара Петровна не пришла, ввергло его в какое-то непопятное состояние. С одной стороны, он осознал всю

странность, но и неотразимость действия тех мощных внутренних дел, которые заставили его вдруг так полюбить Варвару Петровну, как будто она родилась вновь и уже не была его затасканной женой; с другой стороны, он осознал, что все это какой-то бред и что весь опыт его прежней, долгой жизни говорит о том, что любовь, да еще к собственной жене,— чушь, в которой стыдно даже признаться; наконец, он ясно видел, что в ответ на его фантастический взрыв Варвара Петровна и ухом не повела, что его любовь — не разделена.

Но не менее странно он отбросил первые два соображения и неожиданно весь ушел в неразделенность любви.

«Лучше уж так мучиться, только бы загородить этим страх перед смертью»,— подумало на секунду что-то внутри его. И он мысленно взвизгивал, доводя себя до иступления, пока еще бессознательно, всей душонкой своей уходил в жуткое прибежище неразделенной любви, которое спасало его от еще большего, последнего ужаса.

Он написал истерическое, слезливое и длинное письмо Варе; залезал с головой под простыню и вечно бормотал про себя как-то запомнившиеся ему лермонтовские стихи:

У врат обители святой
Стоял просящий подаюня
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Навек обмануты тобою!

Митрий Иваныч бормотал эти стихи всегда, завывая от их скорбного, страшного смысла; бормотал, когда его выслушивали насмешливые врачи; когда возли в уборную; за едой, когда пища вываливалась из рта. Он совсем помутнел от этих стихов.

...Варя читала его письмо совершенно равнодушно;

хотела было сказать про себя: «дурак», но когда прочла все, то почему-то решила, что не он его написал. «Слишком уж заковыристо для Мити», — подумала она. За дни своей свободы от Митрия Иваныча она распухла, не то от водки, не то от разврата. Но жалость — легкая, абстрактная такая, не мешающая ей спокойненько кутить, — такая жалость к Митрию Иванычу тоже по-своему волновала ее. Наконец, мирно поругивая себя и мысленно сославшись, что первые дни не приходила по пьянке, а потом вдруг совестно стало, она поплелась с передачей к Митрию Иванычу. Тот в это время застрял в уборной. Когда Варвара Петровна пришла, кровать была пустая. У нее мелькнула мысль: передачу оставить, а самой быстрехонько улизнуть, но тут как раз Митрия Иваныча ввезли.

Митрий Иваныч за эти последние дни уже ослаб, и вместе со слабостью в нем появилась какая-то страшная, уничтожившая все чувства ясность мышления. Этот переворот происходил постепенно, а встреча с Варварой Петровной привела к тому, что эта ясность беспощадно хлынула во все тайники сознания.

Собственно, встречи никакой не произошло; Варвара Петровна сказала два-три слова; Митрий Иваныч слабо прошептал ответ; Варвара Петровна опять что-то сказала, а Митрий Иваныч смог прошептать уже только полслова. Он равнодушно смотрел на нее, как на тумбу, и недоумевал, за что ее можно было любить. Обрадовавшись, Варвара Петровна ушла.

А завершившийся переворот в душе Митрия Иваныча состоял вот в чем: те истерические, странные силы, которые гнали сознание Митрия Иваныча от смерти сначала к «дядям», а потом к любви, исчерпались; всепобеждающая ясность внутри его сознания, которую он сдавливал и пытался замелькать, пробилась; непостоянство чувств рухнуло перед постоянством мышления; он понял, что от смерти не уйти; и хоть люби его Варвара Петровна или не люби, хоть настрой он тысячу домов или не настрой, это не ответ на мрачное, тяжелое дыхание смерти, и что ответ может быть заключен только в самом понимании смерти — но здесь Митрий Иваныч был, конечно, бессилён, так как понимание это могло прийти только после познания той области, которая лежит за пределами видимого мира. Да

и то, имея в виду полное успокоение, если это познание абсолютно — хотя бы в отношении судьбы «я».

...От этой чудовищной, торжествующей без торжества ясности уничтожения Дмитрию Иванычу стало так жутко, что спасало его только возрастающее забвение.

Правда, иногда он, стараясь ни о чем не думать, все же гаденько в душе повизгивал и, чтобы убедиться в том, что он еще жив, потихохоньку, маленькими дозами мочился в постель.

Кроме того, из-за сознания приближающейся гибели он сумеречно порывался повеситься; и слабыми, как тень, руками безнадежно, из последних сил пытался привязывать к спинке кровати какие-то шнурки. Но прежние внутренние силы еще копошились в нем: на него напал страх, и он думал: «Лишь бы выжить»; выжить и спастись не от раковой смерти — это было невозможно, — а от самоубийства.

И за несколько минут до смерти, когда над ним уже стояла, что-то жуя и поглаживая свой живот, самодовольная врачиха, он, закрыв глаза (чтобы не видеть исчезающий мир), думал: «Только бы не повеситься», — и нелепое, смрадное сознание того, что он избегает моментальной смерти от самоубийства, отдаляя тем самым, хоть на минутки, неизбежную смерть, наполняло его душу сморщенной, патологической, как безглавый выкидыш, слабоумной радостью; радостью, которая надрывно и жалко пульсировала среди безбрежного мрака и хаоса. Он тихонько пел (что-то идиотское и потаенное), глотал слюну, чтобы почувствовать теплое; гладил трясущиеся от страха ножки; иногда закатывал глаза и вспоминал, что мир прекрасен. Быстро пролетели его последние мгновения.

Городские дни

Маленький городок недалеко от Москвы охвачен потоком солнечного тепла. Стоит нестерпимо жаркое лето. В природе — пир жизни, которому не видно конца. Воздух напоен торжеством, словно сам рай сошел в опьяняющий мир.

Там, в высоте, светит чудовищное белое солнце, как золотой зрак Аполлона, как знак того, что он есть.

Глаз опущен, закрыт, остался один знак — неугасимый, проливающий потоки света в мир, всемогущий, божественный, равнодушный к добру и злу...

На земле — там, внизу — не античные города, не тени богов, не трепет елевсинских мистерий, а обыкновенный городок 196... года. Низенькие дома-коробочки, плакаты о том, что «Бога нет и никогда не было», чад пивных с их зигзагообразными непослушными очередями, тупой вой машин. Диковатые, полуоднообразные люди там и сям шныряют по улицам и иногда о чем-то спорят, но больше угрюмо молчат. А на солнышко даже и не смотрят, полагая в простоте душевной, что оно всего лишь котел с ядерно-химическими реакциями внутри. Учатся все — от мала до велика, но от учения лица становятся еще угрюмей и заброшенней, как будто учение стало тьмой, а неученье — светом.

За гулом фабрик, за туманом пыли и бензина приютилась Белокаменная улица. Четырехэтажные коробки, слепые окна-глаза, зелень, детвора, старушки на скамейках, торопливые мужчины. Вид у мужчин помятый, странный, глаз — полужвериный, полуищущий правду; кулак — тяжел и увесист, словно грузное и уверенное дополнение к правде. Бывает, что летними вечерами крик восходит от домов, как плотное облако; женщины кричат о разбитой посуде, о жизни, о детях, о деньгах; мужчины переругиваются более тихо и мрачно, в основном о водке и смерти. Изредка этот монотонный вой прерывается взрывным грохотом, тяжелым падением тела — и наступает тишина, мертвая и страшная, как в глубине вод. Это верный знак того, что произошло нечто близкое к смерти: удар, кровь, стон и замирание чьего-то сердца и скорый выход души. Но куда?

Кузьминские жили в одном из таких домов. Черная пасть парадного выводила почему-то во двор; голый, одинокий, без единого деревца в нем. Раньше среди взрослых хозяином двора был Василий Антонович — милиционер и жилец дома. Но с тех пор как он исчез, неделю назад, двор душевно опустел. А исчез он самым диким и неподобающим образом.

Василий Антонович в свое время был подлинный начальник; причем начальником он становился именно тогда, когда возвращался со службы. С этого момента он никому не давал спуска: крик, брань, придирки

преследовали жильцов, как потусторонних мух. «Ты почему здесь сидишь?» — кричал он, распаясь, на какого-нибудь еле трезвого мужичка, прикорнувшего на дворовой скамейке. «Опять насорено, опять насорено!» — звучал его голос, долетая до самых укромных уголков дома. «Куда, куда?!» — шумел он в своей комнате, как будто она была отделением милиции. Больше всех доставалось жене — Анне. С течением жизни взгляд ее все мутнел и мутнел, как будто жизнь заключала в себе одну тьму. Трудно было поэтому найти на свете более мрачное существо, чем жена Василия Антоновича. Доставалось от него и Кузьминским, хотя были они люди пожилые и тихие; недолюбливал же их Василий Антонович за веру, за иконы, но особенно за то, что их дочь, тринадцатилетняя Таня, носила маленький крест на шее. «Сами глупые, неученые — и ладно, а дитя для чего смущать?» — тяжело вздыхая, говорил он. Но дело это было тонкое, умственное, а Василий Антонович решался прерывать дела простые и ясные. Поэтому больше всего он любил работу в вырезывателе. «В вырезыватель вас всех, в вырезыватель... чертей беспорядковых», — кричал он по любому поводу. И даже просто так. «Житья от него, ненавистного, нету, — вздыхала полутемная, в слезах старушка Никитична, — и во сне снится... Один голос его громовой и слышу». Исчезновение же громopodobного произошло следующим образом.

Однажды вернулся он совсем распоясавшись. Кажется, опять дежурил в вырезывателе. Обругал Никитичну за семечки, гаркнул на Таню: «Сними крест!» Прошел к жене. Анна варила кашу — рядом стоял лишний пустой черный чугунок. «Не вовремя!» — зарорал он, ударив ее. И вдруг в глазах Анны вспыхнул огонь — меткий, жесткий. Вспомнила все. Где-то в душе лопнуло терпение. Подошла и ловким уверенным движением, слегка подпрыгнув, нахлобучила на голову служивого чугунок. Чугунок как-то таинственно хлопнул и, будто предназначенный, неожиданно точно оделся на голову, накрыв ее до самой шеи. Служивый заревел, Анна исчезла, словно ее слизнули. Василий Антонович остался один в темноте. Он попытался было сорвать чугунок с головы рывком сильных рабочих рук, но сделал неуклюжее движение, и чугунок окончательно закрепился, словно намертво охватив

милицейскую голову. Крик поднялся такой, что жильцы позабыли запереться в своих комнатах. Василий Антонович выбежал в коридор, спотыкаясь и трубно крича, пытаясь сорвать так неудачно врезавшийся горшок. Ничего не видя, он тем не менее пытался бежать — от стены к стене, куда неизвестно. Тьма объела его. Ни неба, ни облаков, ни солнца не было. Главным образом пугала его тьма и невозможность сорвать чугунок: при каждой попытке голова трещала от боли. А может быть, просто он обезумел от ярости и стал таким неловким. Ужас распирает его. И вместе с тем желание бежать, куда — он не знал. Полупрыгая, бросаясь из стороны в сторону, Василий Антонович спускался во двор — к свету. Вид метущегося начальства с черным чугуном на голове парализовал всех. Страх мешал думать и — предпринимать. Погоны напоминали о власти. Но тупой рев под чугуном напоминал об уму непостижимом.

Под конец произошло что-то совсем жуткое и несообразное. По какому-то непонятному наитию милиционер, выбежав во двор, бросился к каменной стене — она была налево, рядом с домом. Двор опустел. Жильцы высунулись из окон. По-темному, неуверенно, тем не менее разбежавшись, милиционер с размаху ударился чугуном о стену. Надежда была разбить проклятый чугунок. А может быть, заодно — и ненужную, вечно надоедавшую голову. Увидеть свет. Увидеть солнце. Воссиять. Пускай даже без головы. Рядом оказался мальчишка Витя, лет четырнадцати, — наглый и пронырливый. Все мальчишки во дворе панически боялись Василия Антоновича. И поэтому жизнь во дворе была тихая; ребяташки не дрались друг с другом. Но первый, кто осмелел при виде объятая тьмой милиционера, был затаенный хулиган Витя Марушкин. Вертясь около ревущего милиционера, он поправлял его:

— Вот так, дядя Василий!.. Там стена!.. Бежи.. Прямо!.. Расколется, гад!

И дядя Василий, тяжело разбежавшись, как носорог, тараном бодал каменную стену. Раз, другой, третий... Ничего не помогало. Свет не мелькал в глазах. Пробуждения не было. Птицы высоко летали над его каменной черной головой. Но расшибить чугунок не удавалось. Может быть, мешала тайная жалость к сво-

ей голове. Прошло время, показавшееся ему вечно-стью, и вдруг Василий Антонович затих. Пошатываясь, медленно отошел на середину двора. Уже раздавался открытый хохот. Василий Антонович присел на пень. Какая-то птичка, видимо ошалев, села ему на чугунок. Когда подошли трое мальчишек, один с кирпичом, она вспорхнула. Это были самые уверенные ребята.

— Давайте я соображу, дядя Вася,— особенно ровил самый высокий из них, Петя.

Но из-под чугунка не раздалось ни звука. Одно жуткое бездонное молчание. Словно Василия Антоновича — там, под чугунком — уже не было, или он изменялся — в иное существо...

Петя продолжал:

— Василий Антонович, я вас стукну... Кирпичом... Как в физике... Аккуратно... Горшок расшибу, а голову не заденет.

Петя сдержанно, робея, словно по инструкции, ударил раза два. Образовалась трещина, но не на голове. Вдруг по-мертвому завывла сирена «Скорой помощи»: очевидно, кто-то решил позвонить.

Осторожно, как идола странного племени, Василия Антоновича вывели со двора в машину. Больше его никогда не видели; Анна через неделю уехала. Говорили, что он якобы сошел с ума: причем на всю жизнь, без возможности возвращения. Старушка Никитична, правда, говорила, что он сошел с ума не только на всю жизнь, но и на период после смерти. Так-де сказали ей во сне.

Но жизнь после этого явно облегчилась. Спало чудовищное бремя контроля. Во дворе стало оживленней. Зазвучали голоса мальчишек. Особенно обрадовались Кузьминские: теперь никто не кричал на Таню: «Сними крест!» Она могла свободнее дышать.

«Господи, хоть последние годки поживем спокойнее», — радовалась Кузьминская.

Но дальше события во дворе опять развернулись самым неожиданным образом.

Да, действительно, стало легче. Еле трезвые мужички спокойно дремали на скамейках. Старушка Никитична всюду лущила семечки и видела более спокойные сны. По вечерам во дворе стали собираться соседушки: забивать козла. Повеяло свободой. Кой-где

даже раздавался хохот. Но в мире детей творилось нечто особое.

Там тоже, конечно, стало свободней. Подросток Петя уже подрался с Витей. Другие гонялись друг за другом, точно они были каменные: так беззаботно раздавали они друг другу оплеухи. Появились даже ножи. Но больше всех стала бояться девочка Таня. Это было нежное, доверчивое существо. Года два назад она была сильно травмирована; началось с того, что к ним в дом — Кузьминские жили тогда в другом городке, совсем близ Москвы — пожаловала гостя, да не откуда-нибудь, а с Запада, из-за границы. Дело в том, что Кузьминские имели там родственников, но последнее, боясь сами приехать, попросили по случаю знакомую учительницу, канадку, поехавшую в СССР, навестить Кузьминских. Канадка и навестила, прохихотав с полчаса в комнате Кузьминских. Говорила в основном о деньгах. Девочке почему-то показалось, что голова у канадки муравьиная, только большая. Но если кто-нибудь мог заглянуть в мысли канадки, то ее, наверное, вообще ни с чем нельзя было бы сравнить. На следующий день пришла милиция: делать обыск. Три дня родители пропадали. Тане снились глаза канадки: до того странно пустые, что походили на глаза манекенов, расставленных в столичных магазинах. Неужели из-за этих прозрачных, ничего не выражающих глаз нужно сажать в тюрьму маму, папу, мучить и терзать? Но маму и папу не посадили. Мама и папа вернулись. Пустые глаза перестали сниться. Но зато по дому поползли слухи: «продались империализму». Тане опять стал чудиться бессмысленный хохот канадки...

Из дома тогда пришлось уехать и прямо в городок N. Их встретили бесконечные лозунги: «Вперед!..» И описанный милиционер Василий Антонович — в конце концов с горшком на голове. И вот началась новая жизнь: милиционер исчез. Но страх скоро снова подкрался к Тане.

Бояться она стала ребят. Особенно глаз Пети: холодных и острых, как нездешняя сталь. Она не могла понять, почему он за ней наблюдает. Она видела, что мальчишки с исчезновением дяди Василия стали бешено драчливыми и оживленными, как зверьки. Но ее никто не трогал: за ней только странно и неподвижно наблюдали. Петя — жестко и отчужденно, Витя — со

злобным удивлением, больше поглядывая на грудь. Он даже открывал рот от изумления. Холод охватывал Таню. Но она не решалась еще говорить чего-либо родителям. Ночью ей ничего не снилось: один холод томил ее, даже во сне.

И вдруг все кончилось.

Вечером ее останóвили у дома. Были все те же ребята. Только глаза Пети еще больше похолодели: точно напоминали оледеневшую сибирскую реку. Сердце ее опустилось.

— Ты почему носишь крест? — тихо спросил один, белобровый.

— Верит в Бога, дура! — захохотал другой.

— Да за такое убить мало, — вдруг с садистской злобой прошептал Петя.

— Бей ее! — вскрикнул Витя.

Одним ударом ее сшибли с ног. Боль заполнила все существо. Били молча. Словно настало время, когда молчат дети.

...Через месяц Таня вышла из больницы. Был такой же теплый, всепроникающий, бессмертно-живой день. Солнце — закрытый зрак Аполлона — изливало свет и мир. Кузьминские решили уехать из этого города. Но куда?..

Дневник молодого человека

Это был молодой человек лет двадцати пяти, уже окончивший институт и работавший в проектном бюро. Но вид он имел пугающе-дегенеративный. Впрочем, заметно это было только нервным, повышено-чутким людям, а большинство считало его своим. Для первых он скорее даже походил на галлюцинацию. Но галлюцинацию злостную, с ощеренными зубками и упорно не исчезающую. Бледностью лица он походил на поэта, но глазки его были воспалены злобою и как бы вздрагивали от катаклизма блуждающего, судорожного воображения. Ручки он все время складывал на животике, так и ходил бочком, прячась в свою дрожь и тишь. Иной раз очень ласковый бывал, но после приветливого слова часто вдруг хохотал.

Вот его записи.

11-е сентября. Дневничок, дневничок, дневничок... Люблю все склизкое, потайное. Особенно свои записи.

Ведь я так одинок. Храню их под матрасом в мешке; часто поглаживаю тетрадочку.

Больше всего я ненавижу удачников и человек счастливых. Я бы их всех удавил. Когда я вижу, что человеку везет: купил машину или хорошенькую женщину, написал книгу или сделал ученое открытие — первая моя мысль: застрелить. Руки сами собой так и тянутся к автомату.

В своих самых радостных снах я видел себя в ситуациях, когда я могу всех безнаказанно убивать. Прямо так, мимоходом — идешь по улице, не понравилось тебе лицо — и бац, из пистолета, как свинью, закурил и пошел дальше как ни в чем не бывало. А милиция тебе только честь отдает.

Приятные сны. Я от них всегда потный от счастья вставал. Дневничок, дневничок, дневничок.

Но в одном каюсь — на самом деле никого еще я не убивал и даже не подготавливался. Труслив я, конечно, и слишком здрав рассудком, чтобы рисковать. Но не только в этом дело. Я ведь — между прочим — очень религиозный человек. Даже Бердяева втихомолку по уборным читал.

Греха-то я, вообще говоря, не очень боюсь: грех это, по-моему, просто выдумка, но вот от прямого душегубства я почему-то воздерживаюсь. Есть у меня от моей религиозности такая слабость. Уж очень жуткая, иррациональная вещь — человекоубийство; как это так: жил человек, мыслил, переживал, и вдруг его нет — и все по твоей вине; а задницей своей — большой, отекающей и в белых пятнах — я, потея, чувствую, что за убийство на том свете или где-нибудь еще обязательно возмездие будет. Именно за прямое убийство, помаленьку мы все друг друга убиваем. И этой расплаты я больше всего боюсь не как реальности — не очень-то я этому в конце концов верю — а как мысли. От одного представления о неснимаемых муках икать хочется и водочку, в уголке, у помойки, лакать... Пока жив, прости, Господи... Так что убийство не подходит для моего характера. Зато как я судьбу благодарю, когда она кого-нибудь умерщвляет. Особенно ежели молодых да по пакостной, мучительной болезни... И самое главное: не по моей вине, не по моей вине... Я тут ни при чем, с меня не спросится; я только в сторонке стою, ручки потираю и злорадствую... Хоро-

шо, знаете, быть смертным, земным человечком, безответным таким, тихеньким. Сало кушать, Бога хвалить, путешествовать. С дурачка и спроса нет.

12-е. Разболтался я вчера, а о делах ни полслова. Очень люблю я все мелочное, гаденькое. Мелочью и суетой человека совсем сбить с толку можно: он даже о бессмертии своей души позабудет. Одна старушка помирала, так я ее заговорил: то да се, то да се, пятое и десятое... Сколько галок на ветке, почему гроб стоит, да как бы не обмочиться. Она только напоследок, минуты за три, спохватилась: «конец». А я говорю — какой же конец, бабуля, а бессмертие души?! Она ахнула: «Ах ты, Господи, а я и позабыла... Совсем запятовала».

С этими словами и ушла.

Дневничок, дневничок, дневничок... Хи-хи... Я и для себя мелочное люблю: это, по-моему, особый вид бессмертия, паучий, и в мелкой, мелкой такой сетке, так что даже собственного лица не увидишь... И хорошо... А то от заглядывания в самого себя — и получаются все ужасы.

Но любовь моя к мелкому — это одна сторона; другая сторона — в удовольствии.

Есть в моей душе такое темное, сырое дно; и оно от радости, как болото, шевелится и пар до мозгов испускает, когда удовлетворяю я свою потребность в несуществовании: несуществовании — разумеется, других людей. Не убийство. А так — обходное, пакостное, вонючее и страшно веселое, как длинный, бесконечный ряд бутылок.

Прежде всего я толкать люблю; в любом месте — на улице, в метро.

Доцент биологических наук Тупорылов, упившись со мной кориандровой водки, на ушко мне сообщил, что, по его подсчетам, каждый толчок, пусть суетливый, ненароком, но даже вполне здоровому гражданину убавляет жизнь на 10—20 секунд. А ежели товарищ больной, то мимоходом даже на многие годы сократить можно.

Толкать я наловчился, как бес; но в этом деле пропорция нужна — не всех подряд сшибать, а то за хулиганство примут.

Делаю я обычно вид, что спешу; особенно удобно это на станциях, на перекрестках, где скопление. Вы-

бираю я в основном старушек или инвалидов; так больше вреда. Толкаю сильно, но не слишком и поэтому всегда умею обойтись, что нечаянно. Есть толчок особо злостный, в самые больные места — я во все детали вошел; есть толчок с психологией — это когда человек стоит глубоко задумавшись, уйдя в себя; очень приятно мне таких толкать: не уйдешь в себя, дружок; вот тебе кулак от суровой, трезвой действительности. А такой срыв — уж я в этом уверен! — в 10—20 секунд не обойдется.

Можно просто наступать на ногу или пятку (я специально очень здоровые, увесистые башмаки ношу); здесь соль в резкой, пронизывающей боли; выбираю я для этого дам или детей: они наиболее чувствительны.

Но в целом все эти нюансы сочетаются: ни без психологии, ни без боли в нашем деле не обойдешься. Важную роль играет неожиданность. С легкой дрожью, внутренне повизгивая, я разбегаюсь как бы спеша (маска всегда нужна) и — бац; очень сладка мне первая ошеломляющая судорога от неожиданного удара; и ведь интересно — кричат вслед с такой ненавистью и отчаянием, как будто ребенка у них убили; нервы все горят от срыва; хорошо ломать внутреннюю психику людей. Убегаю я быстро, с деловым видом, как будто страшно занят. Портфель всегда при мне. И всегда проходило. Но важна цепная реакция. В душонке моей ликование и упоенность. Потом, когда все укладывается, нового нахожу; затем еще; и так все время купаешься в наслаждении и отмщении. Это ведь закон: если человек не может быть сам счастливым (а большинство к этому органически не способно — в этом я уверен), то единственное, чем можно себя компенсировать, — сделать несчастливыми других. В этом я и вижу свою специальность и смысл жизни.

...А годка два назад — записную книжечку завел: все свои толчки отмечаю. Количественно и некоторые индивидуально. Это тех, про которых считаю, что много жизни отнял.

Общий подсчет получился феноменальный — аж сердце екает — десятки лет я у граждан отобрал.

15-е. Есть у меня удовлетворения полегче, позабавней — не все со смертью в кошки-мышки играть.

К примеру, люблю я, когда меня спрашивают (особенно иногородние), как проехать, отвечать обстоя-

тельно, подробно. И указать, разумеется, лживый, можно даже сказать, противоположный адрес. Иной раз руку пожму. По себе знаю, как человек нервничает, если не может найти то, что нужно. Казалось бы, пустяк, а может довести до кровоизлияния.

16-е. Мы очень многое упускаем из виду. У меня глаз острый, наметливый: сколько есть мелочей, которые приводят к инфаркту. «Надо все использовать»,— говорил Наполеон.

Товарищи спрашивают меня: почему ты, Виктор, не женишься?

Им я не могу сказать. А дневнику скажу. К слову: почему я веду дневник?! Потому, что он — мой единственный друг.

А почему единственный друг? Очень просто. Да оттого, что только ему я не в силах причинить подлость, нельзя же сделать больно бумаге или собственным мыслям. А если б живое было — я бы обязательно сподличал, а какая же дружба при подлости.

Итак, о жене. Выберу я себе в подруги — только такую же тварь, как и я. В этом и загвоздка... Такие ведь человечки о себе не кричат на каждом перекрестке, а где-нибудь под столом дневники ведут.

Любить я ее буду до безумия. Мне кажется, она должна быть крупна телом, очень прожорлива; одета помято, даже грязно; кожа нежная, сальная; волосы слегка всклокочены от грез; глаза глубокие и затаенные.

...Живет она в уголку, постелька пышная, мягкая, она тонет в ней. На подоконнике обязательно цветочки. Где-нибудь на тумбочке — олицетворение кошмара, идол...

Да разве такую найдешь. Познакомился я тут с одной застаревшей доносчицей. Но не то. Для пробы дал ей дневничок почитать. А с ней истерика... Я ей говорю: «Ишь сколько людей загубила, а мыслей — пугаешься». А она отвечает: «Так я думала, что гублю для блага; а в мыслях я всегда была чистая...»

17-е. Брр! Как радуется душа чужому несчастью.

18-е. Мои соседи напоминают мне хорьков. У меня всегда такое впечатление, что у них два зада; лишней — сама голова.

Есть, правда, две злобные, как столетние крысы, старушки; и к тому же враждуют между собой. Но зло-

ба настолько уродливо въелась в них, что превратилась в самомучительство. Она преследует их день и ночь; они грызут себе руки...

Началось все с того, что одна из старушек долго не могла достать пшена; обходила все магазины, простояла в очереди, и пшено как раз кончилось у нее под носом. С горя она заболела. И услышала, что другая старушка страшно этому обрадовалась. А обрадовалась-то она не по злости, а просто чтоб себя утешить: она также весь день простояла в очереди за импортным гусем и не достала.

Но с этого момента заболевшая старушка стала мстить; и все шло у них в таком духе: кто друг дружку переживет. Каждое утро старушки норовили встать одна раньше другой, чтоб показать, что живы. Подглядывали в щелку, когда приходил врач. Когда «пшенная» чем-то отравилась, другая напилась и пустилась в пляс. Я месячишко-другой жил этой ссорой. Я понимал, что переживу их, и играл роль третьего, насмешника, затаенно радуясь, что они не видят своего главного врага. Я всячески натравливал их друг на дружку, умиляясь при мысли, что от неполноценной злобы они скорее подохнут.

Один раз я распустил сплетню, что Петровна совсем плоха. Так пришлось взять свои слова обратно, ибо Петровна настояла, чтоб я при другой старушке опроверг домыслы. И показала ей язык. Я плюнул и не стал принимать в их смерти большого участия. Но знаю — момент придет сам собой.

20-е. Утром удалось харкнуть в кастрюлю соседа.

22-е. Вчера звонил по телефону матери сослуживца. Приглушенным, измененным голосом сообщил, то есть наврал, что ее сын — попал под машину и лежит в морге больницы Склифосовского.

Сегодня сослуживец не вышел на работу — наверное, с матерью было плохо.

24-е. Сильно толкнул на платформе старика. Убегая, подглядел, что старик долго держался за сердце.

26-е. Шепнул маленькой девочке, идущей из школы, что ее папа отдал себе ногу.

27-е. Тусклый и скучный день.

Толкал очень неудачно. Кто-то обругал матом.

После работы ничего не лезло в голову; так отупел, что не нашел ничего более гадкого, чем пошло звонить

по телефону, через каждые две минуты, какому-то идиоту.

Ужинал. Побродил. И с горя зашел в кино.

28-е. Приятная новость: неподалеку молодая женщина болен, безнадежно, раком. Но от нее тщательно скрывают. Она убеждена, что выздоровеет, что у нее язва. Сегодня написал ей анонимку, очень убедительную, что у нее рак и жить ей осталось недолго.

30-е. Обмочил ботинок соседа.

2-е октября. Подхватил легкий гриппок; чихал на кухне в чужие сковородки.

4-е. Опять неудачно толкал. Нудный день. Видел одного человека, показавшегося мне счастливым. От этого целый день выло в башке. Ничего не получалось. По злобе я чуть себя не открыл. Ночью, бредя по коридору, в сортир, заорал благим матом, чтоб перепугать соседей. Кто выскочил, кто на крючок заперся. Я сказал, что увидел мышку.

Сегодня испортилось настроение оттого, что сосед купил машину. Моя бы воля — я б его подстрелил.

В душе — смурно, смурно, но радостно от постоянных мелочей; ничего за ними не видишь; то пожрать — в очереди стой; то за колбасой — на автобусе съездишь, то пуговку надо зашить; то просто — мыслей нет. И мелких пакостей можно творить видимо-невидимо. Правда, тут тайком прослышал, что один старичок только что вылез из больницы после инфаркта. Хочу его крепко толкнуть. Если наука права — эффект будет брызжущий, может быть, смерть.

Но без мелочей, без въедливых, — все не то. Ожерелье должно быть. Дневничок, дневничок, дневничок... Память у меня, невидимый, ослабла... Списочек надо мелочей составлять. Как толкану старика, в этот же день — нужно: 1) удавить котенка Лебедевых, 2) плюнуть в чужую кастрюлю, 3) испугать старушку, 4) подглядеть в шелку, 5) пустить по квартире две сплетни, 6) написать анонимку Брюхову, 7)

Яма

Утро упало в тихую пустоту улиц. Но что изменится от этого в моей душе... Всю жизнь меня жгло одно стремление: к смерти... Только в исчезнувшем раннем

детстве я любил жизнь. Стук моего сердца наполнял тогда мое сознание, и я не знал ничего, кроме этого стука. Мое сердце казалось мне мячиком, с которым можно затевать вечную игру... А потом: смерть повела меня, как слепого ребенка... Это началось с того, как стали тяжелеть мои мысли. Раньше они были светлые и служили определенной цели. А теперь я понял, что они сами по себе и не имеют предназначения. Поэтому я очень не люблю думать. А когда нет мыслей, и в сознании чисто, чисто, как в душе птицы, особенно ясно видишь поток внутренней силы, влекущей тебя помимо твоей воли к своему берегу — к смерти. Так вот то, что находится внутри нас, наше сокровенное!

С этих пор я особенно полюбил — не столько саму смерть, иначе я бы давно ушел, сколько сознание смерти.

Именно сознание смерти, потому что сама смерть — что это такое?! «Когда нас нет — есть смерть, когда есть мы — нет смерти» — а мысль о смерти, о, это совсем другое, это жизнь, это визг, это слезы, и я настаиваю, что надо жить во смерти, каждую минуту создавая ее, копошась в ней, как в любимой женщине. Человек, быть может, и есть всего-навсего мысль о смерти.

Итак, сознание смерти заменило мне жизнь.

Вот и сейчас, в этот весенний день, в этом рассказывающемся мире, как ветер, я вышел на улицу, чтобы смерть опять повела меня в свою утреннюю прогулку. И все вокруг опять стало таким хрупким и потусторонним, как будто стеклянная кровь пролилась по ветвистым жилам мира... О, Господи, заверну лучше на мост, к реке... Я ловлю встречаемых людей в уютное гнездышко моих мыслей о гибели. И они становятся не такими, какими кажутся на первый взгляд: женщина, покупающая в ларьке капусту, — стоя мочится тихими спазмами страха. Я люблю ее тело, потому что оно вздрагивает от прикосновений смерти.. А девочка, оборванная, замусоленная девочка, разве она бежит играть в классики — нет, она просто скачет навстречу своему уничтожению.

И ее тело, напоенное жизнью, еще больше напоено Великим отсутствием.

Это Отсутствие сказывается в каждом ее движении, в ее застывании, в ее мольбе...

Бедная скелетная крошка! Поцелуй свою будущую могилку. Да, да!.. Я еще в детстве — а жизнь уступила в моей душе смерти, когда мне было семь лет — очень любил играть вокруг своей будущей могилки.

Я строил ее из песка или глины, ставил жалкий детский крестик из палок и играл около нее в прятки. Мама порола меня за это... Но хватит о прошлом.

Особенно я люблю есть, думая о смерти. Я прохожу мост, захожу в разукрашенную хохотом столовую... Хорошо в уголку пить сок и знать, что ты скоро растворишься в неведомом, как темный сок растворяется в тебе.

Господи, посмотреть бы на мух у стены...

Мелькание, мелькание и мелькание... Сознание смерти делает меня легким и нетронутым, и я прохожу сквозь мир, как сквозь воздух. Хорошо жить умершему. И мысли становятся как звон колокольчиков.

Представьте себе, потому что я мертв, я сделал карьеру. Хотя мне всего тридцать четыре года, но я заведу отделом. И это потому, что мне все безразлично. Сознание смерти легко проводит меня сквозь жизненные сгустки, дальше, дальше, туда, к концу. Беденькие живые поросята, мои сослуживцы, как они извиваются, стараясь добиться лучшего положения. Но у них не выйдет. Хе-хе... Они вертятся вокруг себя и кусают зубами воздух. Потому что у них нет той холодной вечной силы — сознания смерти. И мне безгранично все равно, кем я буду, а им — нет...

Вспоминаю, что даже утром, в постели, тронутый пробуждающейся влагой жизни — с первым же рассветом сознания! — мысль о смерти обжигала мой зад.

Наконец я допиваю свой сок. Я всегда очень аккуратно одет, как покойник, в наглаженном, выхоленном костюме, в безупречном накрахмаленном воротничке и при галстучке.

Смерть в отличие от жизни должна быть прилична.

И все же жизнь хороша! Не надо думать, что я не люблю жизнь. Просто смерть я люблю еще больше.

А жизнь-то я люблю скорее не саму по себе, а в ее связи со смертью.

Вот и сейчас, как приятно слушать болезненно-родной, до ужаса всепоглощающе-реальный стук своего сердца и знать, что оно остановится. Да, да, не будет всепоглощающей реальности!

Тсс-тсс! Вот я толкаю ботинком ленивую кошку. Солнце бьет мне в глаза. Здравствуй, мама! Где ты сейчас, после своей гибели?! Пока.

Я иду дальше. Все сторонятся моего безупречного костюма.

Должен сказать, что за мою духовную карьеру я очень многое и разнородное перепробовал. Ницшеанство, богостроительство, экзистенциализм... и так далее, и так далее, не перечить. Сознание смерти пряталось где-то в глубине, пока я пробовал... Но... Какое-то странное недоверие ко всему, что существует, отталкивало меня от «спасения»... «А не послать ли все к черту!» — думал я.

И темная, иррациональная сила выбрасывала меня подальше от всего, туда, вглубь, где ничего нет.

Почему мне все, в том числе религиозные пути, хотелось послать к черту?.. Я овладевал любимым видом «спасения», но после того, как овладевал им, сразу юркал куда-то в сторону, в черный ход!

И почему мне был так приятен самый безысходный пессимизм?? Откровенно говоря, самое скверное, что я испытывал в жизни, — это чувство счастья. Испытывал я его очень редко, и всегда у меня бывал тяжелый осадок на душе.

Мне становилось не по себе, явственно хотелось сбросить эту тяжесть с сердца.

Наоборот, когда я знал, что все кончено, когда ни в личном, ни в мировоззренческом плане нет никакого спасения, когда я сознавал, что человечество — обречено, а жизнь — абсурд, галлюцинация Дьявола, именно тогда во мне все было так приглажено, крепко склеено, что я даже физкультурой на радостях начинал заниматься.

Может быть, я так ненавидел жизнь, так хотел гибели всеобщему, что ради этого готов был идти на личную гибель?!

Или мне не хотелось торжества какого-либо «спасения», потому что это было бы торжество идеи извне надо мной; а я никак не мог этого допустить; лучше уж тотальная, всепожирающая яма, где все равны перед смертью.

Наконец, может быть, моя любовь к себе настолько безгранична и абсолютна, что в жутких рамках земной жизни она никогда не сможет реализоваться полно-

стью, отсюда и раздражение, и болезненное стремление найти выход там, по ту сторону существующего. С другой стороны, сама жизнь так третирует эту любовь к себе и загоняет в угол, что неизбежно нарастает протест.

Поэтому, возможно, что самоубийство — высшая форма любви к себе. Между прочим, меня всегда интересовало самоубийство из-за пустяка: вот, допустим, вам наступили на ногу в троллейбусе, а вы — из абсолютной любви к себе — не стерпели, пошли и повесились где-нибудь в подворотне напротив троллейбусной остановки. Ведь отомстить самому наступившему — это далеко не абсолютно, а скорее даже наивно, ведь факт вашего «ранения» не исчезнет, и мировой закон, по которому вам могут причинять боль, тоже не исчезнет, если даже вы застрелите «обидчика». Поэтому когда вам наступят на ногу — рекомендую повеситься, и как можно скорее, с порывом, чтоб опротестовать все мировые и даже физические законы! Из иступленной любви к себе! А недурно-с.

Ну, хватит об этом. Причины стремления к смерти неисповедимы. Не берусь определить точно: темна вода. Но последнее время я все «спасения» уже окончательно отбросил, и меня все неудержимей стало тянуть в яму.

Часто я сидел перед зеркалом и рассматривал собственное лицо... Тсс! Тсс!.. Я сейчас переживаю это как настоящее. Вот линии бровей, вот лоб, вот глаза, это ведь не брови, не глаза, не рот, а я, я, я, я... Но мое «я» хочет убить себя... Убить... убить... Опять влечет та самая, скрытая сила... Унести... Унести себя... Куда-нибудь подальше... туда, в яму... Неси меня, мое «я»... Ау... Ау...

Не знаю, чем бы кончились эти сцены... Один раз меня прервал телефонный звонок из министерства.

А потом, потом... Потом появился новый, чудовищный по своей остроте вид самоубийства: я влюбился... Эта смерть длится и сейчас... Зовут эту девочку Наташа... Почему именно она? Потому, что она наиболее соответствовала моим представлениям о смерти.

У нее был очень изломанный, болезненный вид — собственный мир, тайный, жестокий, немного мне близкий...

И этого было достаточно, чтобы возбудить абст-

рактное, нездешнее чувство; относительная духовная близость дала первый толчок, а там чувство уже существовало само по себе, и именно в нем я нашел то, что искал: смерть... Я совсем потерял связь с видимой реальностью... Чувство уводило меня далеко от жизни; оно напоминало пирамиду, уводящую в черную бездну неба; какое-то заигрывание с непостижимым.

Часто во время странных вечеринок, забившись в угол, не понимая, что происходит, я следил за Наташей... И тайная недостижимость любви — любви в высшем смысле этого слова — мучила меня... Я чувствовал, что мое «я» выпито каким-то странным, трансцендентным чудовищем или отторгнуто от меня и поднято над миром; поднято в какую-то стихию Недостижимого.

И именно за это чувство Недостижимого, вдруг возникшее на простом земном пути в будущем, может быть, самой банальной любовной истории, я сладостно-мертво уцепился.

Это легкое, мимолетное прикосновение мистической тайны, этот поданный знак об ирреальном говорил мне о том, что вот теперь наконец надо свести счеты с жизнью. Мое чувство, до дна обнажившее тщетность всего лучшего на земле, ясно говорило мне: пора.

Надо было крепко, со здравым рассудком, рационально держаться на этот момент.

Ведь могло перепутаться: девчонка была нежна, одинока, мог бы завестись романчик, и тогда знак исчез бы, как видения монахов. (Ведь я, что совсем странно, и по-человечески, то есть не только как вид смерти, любил и люблю Наташу.)

Я тогда так и положил: чтобы растянуть самоубийство надолго, чтобы вдоволь наумираться, нам надо встречаться пореже. А потом взрыв и — конец.

Да и началась-то моя любовь недавно: всего месяца три назад... Но Наташенька почувствовала кое-что, хоть я и пытался скрыть... Ах, как играет моим сердцем черная, сумасшедшая сила... Бейся колокол... Она потянулась ко мне... Робко, одиноко и нервно... Точно метнулась в танце с самой собой... Но ей-то, наверное, хотелось любви пусть и духовной, но и человеческой, полнокровной, а мне — только смерти.

Психологически я заглушал ее первый, безгранично одинокий, женский писк; кажется, раньше ее силь-

но обижали как женщину, относясь к ней только грубо-физически... И вот теперь ей казалось: появилось что-то настоящее, полноценное, радостное, но я заглушал в ней это в самом зародыше уже с другой стороны, со стороны смерти. Я холодно останавливал ее своим пустым, безжалостным взглядом... В самом начале... Еще не было никаких движений, могущих разрушить ирреальное... Еще можно было умереть... О, ее тело казалось мне сплетением заколдованных символов, замыкающих ходы... Руки, белые пальчики, волосы — о, разве это просто руки и волосы?!

Сейчас я подхожу к своему жилищу... Какая-то девочка бросила мяч и не может отвести глаз от моего безупречного костюма... Вот и моя комната... Мои детские портреты... Букварь, который вечно лежит у меня на столе... Я сажусь около будничной кошки... Проходит час, может быть, два... Вдруг звонок: резкий, телефонный... Подхожу... Ее голос... Первый раз я слышу ее голос по телефону. О чем она говорит?.. Я ничего не понимаю... Но я слышу только оторванный от ее плоти голос, существующий сам по себе, неиссякаемый, мистический, полный внутренних бездн и страхов... Почему он так уводит меня?.. И куда?.. Куда?! Опять, опять она говорит... Как чувствуется пропасть пространства... Между кем: ею и мною? Или мною и знаком?! Куда этот голос уводит меня?.. Все дальше и дальше, с каждым звуком, с каждым дрожанием — туда, туда... Как будто он удаляется... Я бросил трубку, прерывая. Итак, теперь все ясно: пора.

— Наташа спасла! — крикнул я в одинокие окна комнаты.

Вышел на улицу... Разумеется — как я ждал этого! — она умерла. А со мной говорил ее голос, блуждающий по миру после ее смерти.

Странное, но определенное состояние родилось в моей душе... Все пропало... Мир выкинут из моего существования... Я совсем не думаю о Наташе... Я думаю только о себе и иду по состоянию, родившемуся от голоса... Наконец-то, наконец-то... Но что наконец-то?.. Я просто иду... По мостовой... По троллейбусу... Дома и люди не мешают мне... О, моя жизнь, о, мой мир, почему вы раньше не были такими одинокими? Почему раньше я думал, что вокруг меня существуют?..

Я вхожу в метро. Как хорошо в колыбели смерти —

в кодыбели моих мыслей — идти вперед... Мое состояние ведет меня сквозь хитроумную сетку реальности... Вот я у края пропасти, на платформе... Ясно и чисто в душе моей и ничего нет... Я шагаю... туда, в пустоту...

.
.
.

А вот теперь я могу продолжить мой рассказ. Если не считать промежутка пустоты, это было как переход в другую комнату, находящуюся внутри меня. Правда, немного подавлено и странно, точно первый свет бьет в глаза родившемуся ребенку... И все-таки до болезненности другое, по сравнению с тем, в земном мире... Единственно хорошо, что пока бьется и существует мое родное истерическое «я»... Чужие мысли светятся, преломляются, играют своим бытием, уходящим друг в друга... Как оживленные лучи света... Их много, этих мыслей умерших людей... Я «вижу» их не чувственно, а своим сознанием; представьте себе, что чьи-то мысли светятся, но не для глаз, а для ваших мыслей или для вашего «я»...

Видны какие-то мрачные сгустки тревожащей однозначности... Это бессмысленный хаос человеческой памяти, темный, как грозовая тяжелая туча, плывет мимо моей души... Теперь-то я могу сказать вам все. Здесь нечего искать разгадки мира или общения с Богом. Здесь все так же глухо заколочено, как и в земном мире. И та же странная иррациональная воля, только еще более оголенная, ведет вас к концу... Нет милых частностей, запаха цветов, плеска воды... Все обнажено и подчинено всеобщему. Я еще могу продолжать мой рассказ, но скоро наступит и мой черед... Так же как на земле постепенно распадается на части и растворяется в окружающем наш труп, так же и здесь распадается душа. Разваливается, как гниющий череп... Память, воображение, мышление, воля... Взятые по отдельности, они не представляют духовной жизни, так же как оторванные куски тела только напоминают о некогда жившем человеке... А нас уже нет... Хе-хе... Сейчас со стороны мне даже интересно наблюдать, как распадается человеческая душа... Как будто присутствуешь при конце света... А скоро наступит и моя гибель, ибо, разделенный, я потеряю себя...

Мне тут жутко... Когда же наконец это произойдет

со мной?.. Как странно мне теперь наша бьющая мимо цели земная жизнь... С ее заботами, вызовом и пригвождением к ненужному.

...Но одна все-таки тоска, как дальний отзвук земного мира, опять гложет мою душу... Моя любовь, ирреальная, таинственная... Ведь что-нибудь она значила? Я уже говорил, что и по-человечески, с верой в победу добра, любил Наташу... Но там, на земле, любовь как вид смерти заглушала все... Теперь же, когда факт гибели налицо и все окончательно ясно, здесь — на краю этой бушующей бездны — я взываю к Богу, к добру и к моей любви... Наташа, Наташенька, там я никогда не верил в благое, потому что где-то в глубине все смеялось у меня над этой верой, но я верил в тебя, потому что ты... была предо мною и ты мне заменила Бога и добро... Приди, приди сюда, чтобы свершилось чудо и я, озаренный тобою, понял, что все хорошо, все нужно, даже этот крутящийся вихрь уничтожения... Ведь на земле ты никогда не обижала меня, даже в мыслях... Приди, спаси...

Ха-ха-ха!.. Даже здесь, в загробном мире, есть экстаз, момент веры. А сейчас мне все тяжело и противно. Я не знаю, сколько времени прошло на земле, тут другие единицы существования... Но вот блеснул маленький огонек — это пришла сюда Наташа. И как быстро, как чудовищно быстро она распадается. Я еще жив и даже записки вам диктую, копошусь, а она уже распадается. И даже меня не нашла... Мечется... В сутолоке сознаний-то разве найдешь... Я было вначале пискнул: Наташа... И дрожь по душонке слегка пробежала... Но очень быстро она распадается... Я даже не успею узнать, отчего она умерла: от рака, гипертонии или непроходимости кишок. И как, с кем прожила жизнь...

Скоро и мне конец. Вот когда эти записки оборвутся, так мне конец и будет.

Что же, что еще при жизни так влекло меня к смерти? Почему здесь, за чертой, так все обнажено и реально-метафизично; почему здесь нет теорий, систем, диссертаций, которые порывались бы все объяснить?!

Ах как страстно верили некоторые из нас, юные, что за гробом нас ждет разгадка жизни... А мне теперь не то что эта, но и земная жизнь еще глуше и непонятней... Ухожу... Гибну... Не узнав ничего из всего, что

жгло на земле, ничего о мучившем меня стремлении к смерти. Я не отказался бы от него даже сейчас, начав вторую земную жизнь, ибо в этом стремлении, особенно в форме любви, была заложена возможность выхода за пределы. Но что за пределами этому миру?

Наша земная жизнь? Наши клозеты?

Или, может быть, здесь нет потустороннего? Здесь все реально, как в яме?.. За что же тогда меня мучила на земле эта мистическая любовь-смерть? Где то, к чему она стремилась?

Теперь я, кажется, понимаю, что искать истинно потустороннее надо не по ту сторону жизни, а по ту сторону человеческого сознания... И то, что я принимал за стремление к смерти, может быть, было стремление к новой, наверное, навеки недоступной сфере, существующей или не существующей где-то в стороне от обычного течения человеческой судьбы.

Какая же сила создала меня?.. Почему во мне она казалась моей, а по результатам — не моя, а чужая?

Что же в нас вечно? Не ум — ум ограничен; не душа, не индивидуальность — они слишком ничтожны для этого. Но что? Что? Неужели?! Нет, не может быть. Весь ужас в том, что в течение жизни я не открыл в себе то, что в нас действительно вечно; не увидел его, не познал, не соединился с ним! Пусть оно — скрыто в нас, почти непознаваемо, зачеловечно, но оно должно быть...

Прощайте... Мне — конец... Ненавижу... Сумма углов треугольника равна ста восьмидесяти градусам... Производная от $\sin x$ равна $\cos x$...

Человек с лошадиным бегом

Герой этих записок был существо огромное, тридцатилетнее, непохожее на своих сверстников и вместе с тем крикливое, настойчивое. Одним словом, он был удачником. По крайней мере, такое он производил впечатление на всех, видевших его. И еще бы: зычный голос, быстрый лошадиный бег, большие увесистые руки, красное, отпугивающее наглостью лицо.

Только одна девочка, хорошо знавшая его, говорила, что он — ужас и только извне таким кажется.

Итак,

Записки человека с лошадиным бегом

Вчера все утро просидел в уборной и задумывался... Господи, куда идти... В полдня сорвался и побежал... На улице сыро, слякотно, и точно мозги с неба падают. Я людей не люблю: кругом одни хари — женские, людские, нет чтобы хоть один со свиным рылом был... У-у... Так и хочется по морде треснуть... Старушонку все-таки я плечом толкнул: шлепнулась, но завизжать побоялась: больно я грозен на вид, хоть и трусоват... Извинившись перед следующим гражданином, пошел дальше... Когда я хожу, то очень сурово шевелю ногами и руками... Потому что, если не будет этого шевеления, совсем противно, как бы незачем жить... Кругом люди и люди... А тут все-таки свое шевеление.

Люблю я также на людей смотреть, особенно на верхушки... С часок могу так простоять: народец на меня, бывало, натывается.

Но сейчас деревья не попались, одни троллейбусы... Увидев первый же темный переулок, я всего избежал... Завернул в него... За луком народу видимо-невидимо... Но в очередях я людей люблю: больно они на монахов похожи и рассуждают... Один мужичонка хотел меня побить, думал шпик... А мне что: шпик не шпик, король не король... От лавки до угла я совсем пустой был: шевеление прекратилось, и не знал я, чего делать... В таком случае я всегда подпрыгиваю... Тогда мозги растрясет и пустоты — нет... С того угла я стал подпрыгивать. Пионеры на меня коситься стали... И откуда около пивных столько пионеров?

...Пустота прошла, мне к Богу полететь захотелось. Я Бога люблю, только редко его замечаю.

Инда около одного двора много грузовиков скопилось... Мужики кряхтят, водой плещутся... Я дурак дураком, а подсобил... Я иной раз люблю подсоблять, на душе так светло-светло становится и в морду бить никому не хочется... Ушел... Больно тяжелы мои ноги стали; точно кровью наполнились... Удивительное дело: ноги — тяжелые, а дома — легкие... Вон он стоит — громадина в десять этажей, — а мне-то что, мне — ноги тяжелы, а ты есть не есть — все равно легкой... Я иной раз плясать люблю. Но перед людьми — никогда. Перед домом или грузовиком. И обязательно с гармо-

никовой... Это мне часто выпивку заменяет... Только в милицию можно попасть, а затылок бывает теплой от крику...

Я пошел дальше. Прошел рынок, молочную, сквер, двух баб. Потом — в пивную. Денег сегодня — на кружку пива... Хорошо, хоть мозга растряслась... Я когда в пивнушку вхожу, сам не свой делаюсь... Народ здесь как ангелы — в душу смотрят... Одежки у всех распахнуты, отовсюду нутром несет, а главноить, — глаза, глаза, глаза... Со всех сторон дырявят... Но это первый момент... А потом — все сами по себе, как оглашенные...

Я пивка взял, кулак соли в него всыпал и стою у окна прохлаждаюсь... В это время — мне чесаться нравится... Я пивка отопью, сниму носок или рубаху выверну и почешусь вдоволь... Народ ржет, а на самом деле это — не народ, а киноактеры... Кино есть кино... Чесание такое мне по душе — я себя в это время личностью чувствую, молодым дубком, Бонапарте... Хорошо, как на пляже... Выпил, в башку мысль глянула... К Моськину идти... Вот как бывает, давеча в уборной сидел — мучился, не знал, куда идти, а теперь все знаю...

Моськин рядом живет... Парень он аккуратливый, без оглядки, только сам на себя смотрит.

Жена у него — под брюками... Иду... Холодно зато солнышко для меня... Не на той планете я родился... Ване Данилычу бы в других местах жить, подальше от шума-гама да поближе к звездному небосклону... Интересно, мозги у меня серые, а как можно серостью думать?!

Моськин на втором этаже живет... Обрадовался, рассобачил пасть, заулыбался... Понятливый... Сели, посидели. Прошло с часок, а может, и все три. Потом я песни запел. Мне какая песня понравится, так она у меня в мозгу гвоздем сидит. А от гвоздя того как бы сияние исходит во все концы: в глаза мои бьет, и в волосы, и в рот... Мне что, мне хорошо... Пустоты нет, одна тупость... Я сам себя песней-гвоздем чувствую... Только кто меня в стенку забивать будет? А я, когда пою, сам в небеса гвоздем забиваюсь.

Моськин, разиня рот, слушал.

— Больно надрывно поешь, — говорит...

Потом дитя, тоненькое, как глиста, проснулось.

Моськин говорит: кончай орать. Я попел с часок, потом скрепя сердце кончил. Моськин за картошкой ушел...

Мне опять тяжело стало... Куда деваться?.. И дитю подошел... Рука у меня огромная, пивная, а кулак больше евойной головы... Я со страху чуть не обмочился, но в душе приятно защекотало... «Вот для чего я живу»,— подумал я. Пальчищами своими я его за горло взял... Дите неразумное, на потолок смотрит, на мух... А меня — так и тянет, так и тянет... Но страшно стало... Первое дело — засудят, а я себя люблю... Второе — сам себе страшен стал... Одного придушишь, второго, третьего... А там пошла... Так, глядишь, и на себя руку подынешь, самого себя перед зеркалом задушишь... Трусоват я стал... Аж вспотел от страха, на дверь оглянулся... Дитенку — ручишей пивной — животик щекотнул, соску вправил...

Наконец Моськин пришел. Я его по-обезьяньему в морду поцеловал. А он распетушился — почему дите орет.

Я говорю: «Я на него дохну».

Он кричит: «Я тебе дохну, ухажер!»

Скучно мне стало. Гвоздей нету. Шевеленья тоже. И главное — конца-краю нет. Глянул в окно: далеко, Господи, ты землю раздвинул. А нам-то, где конец, где начало?..

Хотел было в уборную пойтить, да Моськин не пустил.

От Моськина я брел, как волна, — то падаю, то поднимаюсь. А что толку — все течет... Но каждый кончик свой вопрос имеет. Нога спрашивает — зачем?! Не в смысле хождения, а в смысле ощущения ноги — зачем? И куда? Во что?

Так же и все остальное. В целом. А то, что мыслит, мозга, особенно кричит: зачем, зачем?!

Точно хочет куда-то подпрыгнуть и из тюрьмы своей вырваться.

Я побежал. Я от мыслей часто бегу. Но теперь не помогло. Словно не я бегу, а все кругом бежит... А мне скучно.

Пришел домой. Вечерело. Починил стул. Посидел. Починил стул. Опять посидел. Папаня приплелся, старичок. Он у меня — один.

Я говорю — папань, чегой-то я сегодня веселый.

Он молчит.

Мне молчи не молчи, я и сам могу кулаком махнуть.

Жалко мне папашо. Грязный он у меня, нищий и оборванный. Старичок, а сопливый, как дитя. И глаза — ясные.

В черном теле я его держу.

Если б мне было куда деваться, я б его по-настоящему пожалел. А то я его жалею больше для себя, для забавы. А деваться мне в самом деле некуда — сколько ни работай, сколько песен ни пой. Вопросительный я весь, точно закорючка.

А старика люблю пожалеть: бью его, деньги отбираю, черствым хлебом кормлю, а жалеть — жалею.

— Папаш, пригреть? — заложив руки в бок, подошел к нему. Он конфузится и лезет в угол.

Я старика мыть люблю, в корыте. Он голодный, долго не выдерживает. Но я промою, кулачком по бокам пройдуся.

Этот раз он еле дышал. Завернул его в простыню, на постель кинул, одеялом прикрыл... Очухливайся, родимый.

...Свет погасил. Картошку поел. Я во тьме люблю есть. Походил по комнате, заложив руки в штаны...

Вопросительность во мне растет, а жизнь — это вялое бормотание...

Постучал стулом...

Господи, когда же я к тебе улечу?!

Полет

— Официант! — блюдечным, истеричным голосом закричал человек, сидящий против меня. — Официант!

Было безлюдно, как в погребе, и такое впечатление, что эта тихая зала столовой вообще скоро исчезнет. Исчезнет раз и навсегда. По углам виднелись убогие, малочисленные, ни на что не обращающие внимания люди. Один из них был почему-то почти голый.

— Официант! — опять взвизгнул мой неугомонный сосед. Я сидел с ним вдвоем.

— Какой-то ужас, — обратился он ко мне, прячась в свои мутно-слезливые, темные глазки, — уже пятнад-

цать минут жду официанта, а его нет. Наверное, трепется с поваром. Лучше застрелиться.

Я не обратил внимания на его последнюю фразу, но вдруг увидел, что он вынимает из кармана огромный, какой-то дикий пистолет и кладет его на столик, рядом с меню.

— Да вы что?! — вылупил я на него глаза.

— А уже не первый раз этим занимаюсь, — смрадно улыбнулся он прилипчивым к самому себе ртом.

— Чем?

— Да стреляю в себя из-за всяких пустяков. Надоела вся эта жизнь. Одни неудачи и какая-то тягучесть.

— Хм, — брякнул я, — но вы не походите на израненного человека.

— А я до смерти стреляюсь. Без промаха... — был ответ.

Я посмотрел в тарелку со своей колбасой и как-то по-съестному хихикнул, как будто колбаса была зеркальцем.

— И это продолжается уже тысячу лет, — спокойно продолжал человек, угрюмо поглядывая на ползущего в стороне клопа. — Раздражают меня всякие казусы в миру. Как будто стенка. Или, может, просто терпения нет. Впервые я, кажется, зарезался каменным ножом из-за того, что долго не мог добыть подходящий шлем на свою голову. С этого и началось. Я хорошо помню некоторые из своих бесчисленных прошлых жизней. И все они кончались быстро и одним и тем же. Один раз я, например, повесился из-за того, что не мог найти носков, — он подмигнул мне. — Я почему-то очень быстр на судьбу и мгновенно рождаюсь опять, как только умираю. Сейчас, к примеру, меня зовут Петя.

Я не знал, что ему возражать, и стал тупо доедать свой ужин. Потом поглядел на спины одиноко жующих людей и почувствовал нехорошее. Очень пугал меня огромный, видимо, туго набитый пулями пистолет, лежащий на столе.

— Что же, самоубийство для вас способ развлечения? — вдруг осведомился я.

— Ваш юмор не к месту, — сухо осадил меня Петя. — Просто мне надоело натекаться на вещи. Полет, полет, у Петра Дмитриевича должен быть, полет! Потому и стреляюсь.

Я молчал, съезжившись жирной спиной. Куда он, собственно говоря, хотел лететь? Самоубийства и бесконечное мелькание новых жизней — это и составляло для него полет, или у него была надежда действительно куда-нибудь улететь, вырваться, все быстрее и быстрее меняя свои жизни?

Но это оставались идеи, гипотезы. А сам он сидел передо мной и дышал в меня так, как будто не мог уйти.

Меня стало беспокоить отсутствие официантки.

— Не обращайтесь внимания, — заметил он. — Иногда я стреляюсь просто так, по инерции. Даже без особого раздражения на вещи.

Он вдруг истерично схватил в правую руку пистолет и приставил его к своему глазу; другим глазом сурово, словно глядел на весь мир, подмигнул мне и — выстрелил...

ФОЛЬКЛОРНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Голубой

Деревня Большие Хари расположилась среди за-таенного уюта приволжских лесов. Напротив — через речонку — Малые Хари, чуть поменьше домами. Сюда-то и направился отдохнуть (а скорее, поразмышлять) москвич Николай Рязанов — не совсем обычный человек, совершенно стертого возраста. Возраста, по всей видимости, вообще не было. Голова его была взъерошена, взгляд — тревожно-бегающий, а на пиджаке — значок отличника учебы. Николай как-то умудрялся сочетать тихую рациональную учебу XX века и службу при начальстве с общим беспокойством в душе. Даже чай пил, посвистывая. А в кармане засаленных брюк всегда носил большой, рваный от времени блокнот с надписью «Основные тайны». Тень этих тайн и влекла его в эту деревушку Большие Хари — что-то он прослышал о ней, содрогаясь по вечерам от стаканов московской водки.

Деревня встретила его смирно, но как-то полупомешанно. Впрочем, может быть, ему так показалось. Дальняя родственница его Марья отвела ему комнатку в уголке. И в первый же день Николай потерялся. Но не сказать, чтобы насовсем. Вышел в лес за грибом и вдруг как-то бесповоротно, точно в голубом болоте, заблудился. Как будто ничего в мире не осталось, кроме этого бесконечно шелестящего леса. И песни в нем...

Марья пожаловалась на его отсутствие. Уже шел второй день. Пришлось девкам собирать на чай ледушке лесовому. Нашли пень на перекрестке, пошептали, покрошили. Песенку пропели, ласковую такую, просительную:

Батюшка лесовой,
Приведи его домой...

Поплутали немножечко, глянь: а Николай тут как тут, из-за березки вышел. Свет не без добрых леших!

Справили возвращение. Ручьи самогона тақ и текли от каждой избы. Весна, хлопотно, птички поют. На седьмой день опохмеления Николай уже знал почти все про две деревушки. Знал про спелых старичков, выходявших перед войной из оврагов, чтобы предупредить народ-диче о бедствии. Знал про колдуна из местных, где-то под Тулою заговорившего немецкую артиллерию, чтоб не палила... Но главное, что заворожило Николая, было не прошлое, а настоящее: две ведьмы-старушки, жившие одна в Больших Харях, другая — в Малых. Та, которая в Малых, была по-добрее и обычно охотнее расколдовывала то, что напускала первая. Впрочем, это могло быть от соревнования... Забавы со скотом, «навешивание кисты» (т. е. волшебное возникновение опухоли) были самым обычным делом, и бабоньки, кряхтя, бегали из одной деревни в другую, чтобы просить одну «развязать» то, что «завязала» противоположная.

Но в жизни старушек старались избегать: больно уж нечеловечьи были глазки, глядевшие как из кустов. «Мы одному миру принадлежим, они — уже другому,— вздыхая, говорили пугливые деревенские старички.— Что они знают, от того у людей ум расколется».

Опасаясь такого раскола, люди осторожно обходили не только дома ведьм, но и шарахались от их животных: петуха, козла и кошки, которая, в сущности, и не была никакой кошкой. Понимали, что главное происходило за стенами их крепких домов. Только иногда зимой, при свете золотой луны и метущейся зеркальной снежной равнины, видели, как из трубы на помеле, нагло и ни с чем не считаясь, вылетали Бог весть куда некрасивые ведьмы.

Сам Николай, хоть и мучился со своими «основными тайнами», не мог подластиться к старушкам, чтобы разузнать про это. Не подпускали они его и близко. Даже кисту не навешивали. Наверное, просто не интересен он им был. Вместо этого сдружился он с колхозным бригадиром Пантелеем, увесистым мужиком, который был знаменит тем, что его однажды обернули свиньей. Рассказывал об этом Пантелей неохотно, с подозрением, но от факта никогда не отказывал-

ся. Да и так все видели, как закрутился вихрь, как на улице вместо Пантелея оказалась дикая черная свинья, которая с утробным воем (выделяя, однако, далеко в стороны жуткий самогонный перегар, что явно говорило о ее человеческом происхождении) понеслась вперед. Как попалась чертова жертва под руки ребятам, которые отдубасили ее так, что потом, когда Пантелей опомнился в яме и волею ведьмы пришел в себя, то долго отлеживался, весь в крови! «Надо быть учителем, чтобы такому не верить», — хохотали в деревне.

Но Николая интересовало больше внутреннее, природа самосознания влекла его к себе.

— Что ты чувствовал, что думал, что с душою было?! — тревожил он Пантелея.

— Отлазь, не мучь, клоп, — сердился порой Пантелей. — Заслужи сам, чтобы тебя обернули. Это тебе не «отличник учебы» напялить!

Но Николай словно совсем обезумел, духовно действительно превратившись в эдакого метафизического клопа. «Основные тайны» совсем истерзали его. Уже шли последние дни его долгого, заслуженного отпуска, а он совсем похудел, глаза ввалились, и Николай уже начал, как в сумасшедшем доме, носиться по лесу, громко призывая «батюшку лешего».

— Ни один леший к такому, как ты, никогда не придет, — разубеждали его в деревне. — Что ты такой беспокойный? Не можешь принять правду, какой она есть. Вот ведьма, смерть, лесовой. А дальше нечего нос сувать.

Однако Николай не унимался. Тишина уже пела в его душе. Забылось все. Стал даже надевать на голову венки из березовых листьев. И пил воду только из родника. Ничего бы из этого, конечно, не вышло, но вдруг во сне ночью он попал (вероятно, случайно) в некое потустороннее поле. Как мышь в мышеловку. Сам он почувствовал это только утром, когда встал, дальним острым краем своего не-сознания. А в сознании был по-прежнему — «Николай». Одним словом, повезло парню.

...На следующий день он бегал, как всегда, по лесу. Аукался. И вдруг видит: на пеньке сидит старичок в белом и пальцем его к себе манит, как дурачка. Николай, охолодев, подошел.

— Ну что ты прыгаешь, все про ведьм и леших

гадаешь? — спокойно говорит ему старик. — Эка невидаль! Да у нас еще при Екатерине Великой колдуны под Москвой свадебные поезда в волчьи стаи оборачивали!.. Ты ведь серьезное хочешь узнать?!

— Самое глубокое и тайное, — эхом ответил Николай.

— Ну так чего же такой мелочью интересуешься? Пойдем, я тебе дверку покажу.

Покорно, как котенок, Николай поплелся за стариком. Шли лесом, который стал все светлеть и светлеть. Точно солнце вставало изнутри земли. Сколько они прошли — неизвестно, но вдруг Николай вздрогнул: совсем недалеко дверка, то ли в землянке, то ли в избушке, то ли в небе. И ум его от этой двери сразу мутиться стал, и подымать его стало, и холодно засветило внутри.

Старик остановил его:

— Слушай, парень. Стой. Потом сделай несколько шагов к двери. Иди медленно. Если до двери дойдешь и заглянешь, тебя не будет. Нигде. Но не думай, что это твой конец... Ты будешь там, где тебя не будет. Но можно не заглядывать, на любом шаге от дверки можно свернуть, если будет знак... Иди!

И Николай пошел. И сразу черный ужас заморозил его. Вернее, он сам превратился в один ужас. Только высунулся, как у собаки, красный язык. Но он шел и шел, точно охваченный невидимым, не от мира сего, холодным и жестоким течением. Если бы не это течение, ужас убил бы его тут же на месте или отшвырнул бы в сторону, как тень, превратив в черную бессмысленную жужжащую муху. Но он двигался к дверке, уже превращенный в нечеловека, тихо волоча свои ноги, как латы.

И вдруг — по мере приближения — ужас стал превращаться в нечто другое, но это было еще невыносимее любого ужаса, внушенного когда-либо людям, чертям или духам на этой земле. «Этому» не было слов, и любое безумие было только нежным шелестом утренних трав по сравнению с этим.

До двери оставалось всего десять — двенадцать шагов, а «это» длилось уже несколько секунд. Николаю показалось, что он уже ощущает тень того, что прячется за дверью, тень последней тайны. Она лишь слегка коснулась его сознания, в котором смешались все пла-

сты: потусторонний, подсознательный, человеческий. И в этот момент кто-то легко и нежно (свет не без добрых леших!) выбросил его из течения, выбросил с пути к дверце...

И затем нечто голубое, воздушное пленительной струей вошло в его сознание. «Это будет тебе подменной,— услышал он голос,— ибо с тем, что ты ощущал, нельзя жить, хотя ты даже не дошел до двери».

Когда Николай очнулся, ни двери, ни старика не было. Но «голубое» прочно вошло в его сознание. Ибо лишь оно не допускало в его душу память, знание, крик о том, что с ним было. Теперь он ничего не помнил, не знал об этом, его сознание опять стало привычным, человеческим, обыденно-смешным... Но в душе пел приобретенный подарок — голубая радостная струя, окрашивающая все в счастливые, гармонически примиренные тона! Без знания почему был дан этот ложный, но милосердный подарок.

Потихоньку Николай добрался до деревни. Уже спали петухи. Одинокими голосами перекликались ведьмы. Все было до удивительности нормально и спокойно. Где-то в саду тоненько пели о любви. В одном окошке горел свет: видно, пили «за жизнь». По небу — почти невидимо — летал ведьмовский петух.

Дальнейшая жизнь Николая определилась голубой струей его сознания. Никаких попыток проникнуть в «основные тайны» он больше не делал и блокнот свой выбросил. Его обыденное состояние осталось прежним: учеба, работа, дела, но второй план был уже не беспокойство, а голубой покой.

Он не знал, что этот смешной покой был лишь тенью, вернее, антитенью того страшного, но высшего покоя, который он мог бы приобрести на одной из ступенек к двери.

Между тем «жизнь» брала свое. Рязанов — в соответствии со своей голубизной — тяготел теперь только к радужным метафизическим теориям и настойчиво объяснял своим друзьям, что «в целом все хорошо» и «там» и «здесь», но что особенно де «там», т. е. где-то после смерти, причем для всех и во всяком случае «в конечном итоге». Стал очень аккуратен, доверчив и к людям шел душа нараспашку, всем помогал, и потусторонний мир не рассматривался им иначе, чем в самых демократических тонах.

На земле же стал как-то чересчур, до неприличия социален: копошился в различных общественных организациях, хлопотал, выступал, ездил убирать картошку, дня не мог провести без людей.

Умер он более чем страшным образом. О смерти своей узнал (конечно, из научных источников) недели за три-четыре, т. е. узнал бесповоротно. И страшно завяжничал. Никогда еще его не видели таким напыщенным и надутым. Предстоящая смерть как бы подпяла его в собственных глазах. Он даже купил очки. Вообще, очень оживился, поучал...

И только в час смерти ему послышался дальний смешок и чей-то голос в пустоте произнес: «Улизнул все-таки... щенок».

Ерема-дурак и Смерть

(Сказка)

В одном не очень отдаленном государстве жил Ерема-дурак. Такой дурак, что совсем необыкновенный. Станный человек, одним словом. Даже в день, когда он родился, стояла какая-то нехорошая тишина. Слово деревня вымерла. Петухи и те не кукарекали.

— Не жилец, наверное, младенец,— прошамкала тогда умная старуха гадалка.

— Еще какой жилец будет! — оборвала ее другая старуха, которая жила в лесу.

Однако до десяти лет ребенок вообще себя не проявлял. «Щенок и тот себя проявляет,— задумчиво шептались старики.— Отколь такое дитя пришло?»

Даже слова ни одного Ерема не произнес до этого сроку: ни умного, ни глупого. А в двенадцать лет пропал. Родители воют, кричат: хоть и дурень-ребенок, а все-таки свое молоко. Искали по естеству: нигде нет, куда ни заходили: ни в окрестных деревнях, ни в лесах, ни в полях раздольных. Решили искать по волшебству: еще хуже получилось. Сестрицы клубок смотали. Заговорные слова пошептали, а клубок вывел на чучело. Стоит среди леса дремучего на полянке чучело, а огорода нет и охранять нечего. Клубок даже от страха развязался.

Делать нечего: зажили без Еремы. Собаки и те два

дня исть не просили. От глупости, конечно. Словно их Ерема онелепил.

Ну а так жизнь пошла хорошая: песни за околицей поются, дух в небо летит, по утрам глаза светлеют от сказок. Сестрицы Еремушки на хоровод бегали — далеко, далеко в поле, где цветы сами на грудь просятся и пахучие травы вверх глядят.

А через семь лет Ерема показался. Словно из-под дороги вышел. За плечом — котомка. Лапти такие — будто весь свет обошел. Зато рубаха чистая, выглаженная, точно он прямо из-под невестинных рук появился. И песню пост, ну такую глупую, что вся деревня разбежалась. Но делать нечего: стали опять жить с Еремой.

«Пора бы его обучить чему-нибудь, — чесали затылки деревенские старики. — Таким темным нехорошо быть».

Спросили у него, да толку нет. Тогда решили обучить охоте. Целый год маялись, потом в лес пустили: а мальчонку за ним по пятам присматривать. И видит малец: Ерема ружье на сук повесил, свечку в руки взял, зажег и со свечкой на зайца пошел. Заяц тудысюды и издох от изумления. Но Ерема ничем этим даже не воспользовался: прет через лес со свечкой напрямик. А куды прет, зачем? Даже нечистая сила руками развела.

Другой раз на медведя пошел. На дерево огромное принял медведя, на верхушку забрался и лапоть сосет. Целый день сидел, без всякого движения.

Худо-бедно, видит народ, надо его чему-нибудь проще обучить. Сестрицы плачут за него, все пороги у высшего начальства обили. Но кроме как ягоды да грибы собирать — ничего проще не придумали. Дали ему корзинку, палку — девица сладкая по картинкам в книге грибы да ягоды различать его учила. Пошел Ерема-дурак в лес. Приходит назад — у девицы над головой как корона из звезд вспыхнула. Смотрит в корзинку — там одни глаза. Много глаз разных устремлены, как живые, не на людей, а куда — неизвестно. Все в обморок упали. Встают — а глаз нет, корзинка пустая. Ерема спит на печке, как дурак набитый. Ничего не понимают. Все бегом — к колдунье. Так и так, значит, нешто Ерема — колдун? Пошла колдунья в избу, посмотрела в рот спящему Ереме и сказала:

— Не нашего он племени. Дурак он, а не колдун.

А про глаза отгадать не смогла. Гадала, гадала, и все глупость получалась. То козел хохочет, то свиньи чернеют неспроста.

Обозлилась колдунья. Метким взглядом глянула на Ерему: а он дрыхнет, ноги раскинул, рот разинул и почти не дышит.

— Надо на ево, такого паразита, погадать,— прокрипела она.— Посмотрим, что выйдет.

Вынула грязную колоду, чмокнула ее три раза, перевернула, на Ерему покосилась — и давай раскладывать.

Раз раскинула — пустое место получается, два раскинула — пустое место, три — то же самое. Судьбы нет, жизни нет, дома нет, жены нет, вообще ничего нет. Ни в прошлом, ни в будущем, ни в настоящем. Первый раз у первого человека в мире такое выходит. Колдунья струсила, видит, дело плохо, ни туды и ни сюды, плюнула, шавкой плюгавой обернулась и — бежать. До дому — ибо даже у колдунов дом бывает.

Народ тогда вообще во всем разочаровался. Ерема наутро встал, по грибы пошел, да листьев сухих принес. Все ахнули и махнули на него рукой. Разные дураки бывают, разной степени, но это был абсолютный. Никогда такие не появлялись.

Стали жить да быть, как будто Еремы вообще нету. «Мысли от него только мешаются», — жаловались бабоньки. Надо было ему жену сыскать. Без жены — под небом ничего быть не может. Но какая за него пойдет? Вдруг сладкая девица — которая по картинкам грибы его различать учила — говорит: «Я пойду за него замуж». Все так и обомлели. Она сказала: «Я за него пойду», потому что у самого дурака спрашивать было бесполезно: все равно ничего не поймет. Впрочем, он иногда говорил, но ни по уму и ни по глупости, а как — никому не понятно.

Значит, решили объявить про это событие дураку всем миром. Собрали сход, сладкую девицу раздели, радетели ее плачут: «За кого, мол, ты выходишь?», нищие песни поют, девица отвечает: «А мне его жалко». Ерема стоит посередине, в штанах, только головой в разные стороны поводит. Сладкая девица подходит к ему и говорит: «Я тебя люблю!» Как только

сказала она эти слова, вдруг тьма объяла небо, грянул гром и деревня исчезла. Стоит Ерема один, как ошалелый, а кругом него тьма и пустота. Потом на миг появились опять те, кто был вокруг него, но уже в виде призраков. Сладкая девица на него смотрит — а глаза словно внутрь себя уходят. Ужас бы любого объял, да для таких дураков и ужасов нет. Мигнула опять деревня призрачным своим бытием и — исчезла: куда, не стоит и спрашивать. Гром грянул, все совсем пропало, даже призраки. Не стало и девицы. Только эхом отдалось: «Я люблю тебя!»

Больше уже на месте той деревни ничего нет. А дурак в лес ушел. Бродит — не бродит, ест — не ест, пьет — не пьет. Хотел его нечистый заплутать, сам заплутался — и тоже исчез. Повеселел лес...

...Много годов с тех пор прошло. Ерема-дурак в городе объявился. Люди добрые к нему пристають: поучись. А чему учиться-та? На, начать надо с главного, с божественного. Но у Еремы божественное не получается: все делает шиворот-навыворот. Опять ни туда ни сюда. Наставитель осерчал: «ну, раз у тебя с Богом не лады, иди к сатане!» Ну и что, пошли к сатане. На краю городка человек жил: полукозел, полукошка. Говорили, что у него с сатаной самые уютные отношения. Человечек Ереме: «убей», а Ерема вопит: «И так мертвый!» Взмок полукозел, полукошка. Принесли с подвала дитя розовое, нежное, как мармелад. Человек дает Ереме нож: «Переступи!», а Ерема только чихнул. Полукозел, полукошка завизжал: «Ты чего насмехаешься!..» и в глаза ему глянул. Глянул — и отнесло его. «Уходи, — издалека кричит Ереме, — не наши ты, не наш!»

Ну, если не светлый, не адский, значит, земной, пустяшный, решили в городе. Но про то, что Ерема ничего земного в руки не брал (потому что из рук все валилось), — мы уже знаем. И поэтому ничего с Еремой у горожан етих, конечно, не получилось. «Что ж он — никакой!» — испугались они. «Ежели хотя бы он тютя-вятя был, — рассуждал один старичок. — Тютя-вятя, он хоть что-то делает, хоть сквозь сон. Вяло, а хоть что-то делает. А етот — вне всего!»

«Ничего, как смерть подберется, так запляшет по-человечески, — говорили другие. — Смерть, она кого хошь научит».

И правда, то ли сглазил кто, но с Еремой скоро очень нехорошие шутки стали происходить.

Жил он на краю городка, в маленьком домике, а за огородом его и за банькой начиналось поле. А за полем — кладбище. Совсем недалеко. И начал Ерему кто-то с кладбища к себе звать. То платком белым махнет ввечеру, то пальцем поманит какая-то высокая фигура у могилы. Но у дурака один ответ: постъ после этого начинается. Наварит каши, нальет маслица и уписывает. Осерчали тогда упокойники. Один малыш ему в дверь стукнул: приходи, мол, к нам. Ну, ладно, делать нечего: собрался Ерема к нежилыцам.

Соседушка его, приметливый, все понял и смекнул: конец дураку пришел. Да любопытный был, дай-ка, думает, подсмотрю. Пробрался по кустам к кладбищу и глядит: ба! Ерема при свечах на могиле с упокойниками в подкидного играет! Лица у неживых масляные, довольные, хотя все время в дураках оказываются, проигрывают. Словно зачарованные. Один из них даже песню запел, другой был — при галстукке.

Оставили после этого Ерему в покое. Ни один мертвяк не вылезал.

Худо-бедно, прошло несколько недель. Как-то возвращался Ерема, сам не зная откуда, по тропинке и вдруг как из-под земли музыка полилась. Свет луны упал прямо перед ним на траву. И в свете этом красавица — сладкая девица — появилась, та, которая полюбила его в деревне. Но не сладкая она была уже, а в тоске вся, и как бы прозрачная, хотя и нежная.

— Что ж, Ерема,— говорит она,— погубила меня любовь к тебе... погубила...

Ерема на нее посмотрел:

— Да была ли ты?.. Кто ты есть-то?

Заплакала девица, но Ангел с небес бросил в нее молнию и, лишив видá человеческого, взял душу ее к себе.

А Ерема домой поплелся, только в затылке почесывает. Опять покой для него наступил. Только знает на печи сидит, ноги свеса, и на балалайке поигрывает (вдруг сам собой научился брэнчать).

Тогда уж неживое царство только руками развело. Но решили к нему Марусю подпустить. В народе говорили, ежели Маруся на кого глянет, тому смерти ни с

того ни с сево, и к тому же лютой, не миновать. Хужее черта лысого ента Маруся была.

Ну, значит, обрядило неживое царство Марусю свою на выход, к людям. Как все равно на выданье. Приукрасили манешко, потому что в настоящем своем виде ее даже к иным упокойникам не выпустишь: не вместят. Колдовали, плявали, сто заговоров за раз читали. Наконец, выпустили красотку на свет Божий. Идет эта Маруся по дорожке из лесу, так даже трава сама не своя становится. Потому Марусю такую на белом свете и держать долго нельзя. Захиреют здешние от ейных глаз.

Подошла она к Ереминой избушке и в окно глянула. Но Ерема и сам на нее посмотрел. Она — на ево, а он — на ее. Аж изба немножечко затряслась. Тараканы и коты попрятались. И чувствует эта Маруся, что она понемножечку от Ереминого взгляда в живую превращается. А он ничего не чувствует, потому что Ерема с малых лет своих завсегда бесчувственный был. Но сказать надо, что той Марусе живой быть, все равно как нам с вами в аду в зубах самого диявола кувыркаться. Не любила жизнь девочка. Хуже для нее казни не было, как живой стать. Закричала Маруся дурным голосом, в ужасе на руки свои смотрит: вроде полнеют они, кровью наливаются. Гикнула, подпрыгнула вверх; в царство навсегда мертвых лик свой обернула: помощи просит. Оттуда тогда на нее мраком дохнули: ледяной холод заморозил кровь в оживающих руках; голос человеческий, вдруг появившийся, пропал в бездну; зачернели исчезающие глаза...

Еле выбралась, одним словом. Неживое царство тогда решило сдаться. «Эдак он нас всех в живых обернет», — решили на совете.

«Плунуть на него надо, чаво там, — сказал на земле помощник мертвого царства. — Пушай евойная Личная Смерть за него берется. Не наше его дело».

И взаправду, если уж Личная Смерть придет, никуда не денешься: срок пришел. Етта тебе не черт поганый, от которого крестом спасешься, а от такого существа ничего не поможет.

Но вышел ли срок Ереме? Спросили об этом у его Личной Смерти. Та просила подумать денька два-три.

«Чаво думать-то,— осерчал помощник.— В книгу живых и мертвых посмотри — и дело с концом».

— Да он у меня нигде не записан: ни в живых, ни в мертвых,— ругнулась в сердцах Личная Смерть.— Надо Великому Ничто помолиться, может, подскажут, куды такого совать. Думаю, ошибка тут какая-нибудь.

— Ох, бездельница,— покраснел от злости помощник.— Все норовишь срок оттянуть. Жизнелюбка!

— Сам жизнелюб,— огрызнулась Смерть.— Иди-ка своей дорогой...

Ну, так матерились они часа два-три, но Смерть на своем настояла. Через четыре дня идти к помощнику.

— Вася,— говорит,— сроков вообще никаких нету, сказали: когда хошь, тогда и иди.

— Ну, так ты сейчас захоти,— намекнул помощник.— А то вертится он тут, ни живой, ни мертвый, и оба царства смущает.

Личная Смерть отвечает: «Ну ладно, уговорил! Пойду!»

— Подкрепись только,— охальничает помощник.

Знает: никакая Смерть ему ни страшна, потому что он и так уже давно мертвый.

И вот Личная Смерть собралась. Сурьезные времена для Еремы настали. Тут как ни крутись, а ответ держать придется. Тем временем Личная Смерть заглянула в душу Еремы и ужаснулась: куды ж такого девать? Взять душу просто, а вот что с ней потом делать — задача не из легких. Оно, конечно, не совсем мое это дело,— думает Смерть,— но ежели убить такого беспутного, то чушь получится — после смерти у каждого путь должен быть. Умненькие по-земному — в ад пойдут, умненькие по-небесному — ввысь, для глупых, добрых, злых, для всех пути есть. А етот как ниоткудава. Ни в рай его не засунешь, ни в ад, ни в какое другое место. Но делать нечего: умерщвлять так умерщвлять. Однако на деле оказалось, Смерть далеко не всезнайка. Не дано ей тоже многое из тайнова знать.

Явилась Смерть к Ереме, разом в горницу, поутру. Глянула на Ерему, и только тогда осенило его. Нет для него ни смерти, ни бессмертия, и жизнь тоже по ту сторону его. Не из того он соткан, из чего мир небесный и мир земной созданы, ангелы, да и мы,

грешные люди. И есть ли он вообще? И видит Смерть, что Ангел, стоящий за ее спиной и меряющий жизнь человека, отступил. Словно в пустоте оказалась Смерть, одна-одинешенька. «Но вид-то его ложный, человеческий, должен пропасть, раз я пришла», — подумала Смерть. А самой страшно стало. Но видит: действительно, меняется Ерема. Сам внутри себя спокоен, на Смерть и внимания не обращает, а облик человеческий теряет.

Но что такому облик? Вдруг засветился он изнутри белым пламенем холодным и как бы несуществующим. Вид человеческий распался, да и облика другого не появилось. Сверкнули только из пламени глаза, обожгли Смерть своим взглядом так, что задрожала она, и ушел Ерема в свое царство — собственно говоря, он в нем всегда пребывал. Но что это за царство и есть ли оно, не людям знать. Ни на земле, ни на небе, нигде его не найти. Только вспыхнуло пламя, сожглась изба, Смерть одна стоит среди угольков, пригорюнилась. Платочек повязала, нищенкой юродивой прикинулась и пошла. Обиделась.

А жизнь кругом цветет: мужики мед пьют, баб целуют, те песни поют, старушки в Церквах Божьих молятся. Пока Смерть не придет.

Сон в лесу

В глубоком тайном лесу, куда не любят заглядывать и звери, приютилась небольшая деревушка. Очень родные люди жили там. Но и на веселие у них тоже духу хватало. Девушки в нежных, как цветы, платьицах на полянку ходили, песни пели хороводные, травы собирали. Мужики более серьезные были: от вина и работы не оторвать... По вечерам темнел лес, сами деревья становились мраком, только шорохи и звуки крались в кустах, пугая детушек малых. Иногда и нечисть приходила с гостинцами. В такие часы деревенские боялись в избах одни оставаться: все друг к дружке жалось. Во дворе где-нибудь собирались, костер жгли. Кто истории рассказывал, похождения всякие. А кто поумнее молитвы особые про себя читал. Порой и бабонька какая-нибудь всхлипывала у костра от страху.

Обласкав так друг дружку, спать разбредались на перины. Одне домовые да молитвы тайные сон их охраняли.

Зато когда солнце вставало, лес зеленый возвращался — куда только мрак уходил, непонятно. Шорохи пропадали, нечистый дремать уходил, птички Божии заместо его прилетали. Девушки по воду шли, важно друг с другом здороваясь, у старушек страх с души исчезал, мужчины с ранних часов медом-вином и работой баловались. После обеда спали все в сладости. Опосля душу друг другу раскрывали, и за этим занятием очень много часов проходило. В спокойные вечера скатерть раскладывали, самовар приносили, девки пампушек напекут, квасу, пива домашнего нанесут — чтобы о душе говорить слаще было...

Тихие, одним словом, были люди, нежные, немного загадочные.

Среди них девушка Настя жила: волосы золотистые, глаза голубые, то умные, то детские; личико белое, как снег в небесах. Молодежь деревенская между тем в прятки играть любила. И Настя тоже этой игрой не брезговала. Бывало, соберутся ввечеру на закате и прячутся. По особенному они в эту игру играли, с задумкой и всерьез.

Однажды собрались вот так и начали играть. Разбежались все по дальним местам, куда и медведь не заглядывал, только эхо одно доходило. Но как ни прятались — нашли все-таки потаенных. Только смотрят — а Насти нет! Искали-искали, нет нигде девушки. Вся деревня стала потом ходить, даже детишки отличились — пропала Настя, и все. Словно она ягодой какой-нибудь обернулась.

В деревне той ночевал проезжий, опытный человек, с нюхом. Он и так полагал, и эдак, и по колдовству, и по уму — и тоже не смог найти. «Вот это спряталась, наверное, и сама себя найти не может», — подумал он.

Горе объяло деревню. Ведь каждый — как родной, да и куда могла уйти душенька странствовать?

Проезжий запил, загрустил и скоро уехал. А деревня долго горевала.

Прошло более года, сколько воды утекло, сколько стихий прошумело в лесу, сколько духов с пути верного сбилось!

И однажды этот проезжий опять попал в те края.

Идет и думает: «А как же Настя, есть ли могилка се? Или растащили по кускам бедное тело?»

Приходит в ту же деревню и первым делом о Насте загадывает.

— А как же, нашлась,— отвечают ему.— Только, может, лучше бы она и не находилась!

«Как так?» — изумился проезжий, у того, у другого спрашивает, на скамеечки перед избами подсаживается. Не сразу сказали ему истину. Но под конец объяснились.

Появилась Настя через год после пропажи. Из лесу вышла. И понял сразу народ: во сне она, хоть и ходит. Бывает такое на белом свете. Красивая, такая же, как была, волосы — золотистые, лицо — белое и глаза — голубые, но в глубоком, глубоком покое. И такой бездонный этот покой был, что всем страшно стало. А идет прямо, без улыбки и не узнает никого. Бились, бились с ней и радетели, и деревня вся — видят: не пробудить ее от сна. Радетели с горя умерли, но Настя жить во сне осталась. На краю деревни ее избушка — спит она там на постели, в горнице, иногда только встает — воды напиться, травушку взять.

Ужаснулся проезжий и говорит: «О, етим дело не кончится! Неспроста все это».

Умный был человек, одним словом.

И действительно, скоро стали происходить события — только не обо всем в деревне знали.

Сначала постучал в окно к Настеньке красавец молодой, писанный. По дороге мимо ехал. Глянул на нее и — ахнул. Такая необычная девушка на него глядит, и взгляд ее как будто в себя затягивает, как в пропасть. Только словани одного не говорит.

Быстро понял тогда красавец молодой, в чем дело. Но не отступился: потому что полюбил Настю, как взглянул. «Какая ни есть — не забыть мне ее», — подумал он. Подошел и — поцеловал Настю. Вдруг румянец — словно в ответ — заиграл на щеках Настеньки, глаза вышли из внутренней бездны, и слышит красавец, что заговорила, заговорила его Настенька человеческим языком! Трепет охватил его. «Неужели пробудилась?» — подумал он. Взял Настю за руки и повел к людям в деревню.

«Ах, как долго, долго я спала», — заплакала Настенька, узнавая своих близких.

— Да спряталась-то ты куда? — спрашивают ее.
— Ох, ничего не помню, подруженьки. Что за место — не помню. Но знаю одно — что спала долго, как мертвая. Ах, как страшно спать!

— Почему, почему страшно, Настенька! Сны?!

— Не было снов. И не от того страшно. Где же я была?

Поплакала потом Настенька над могилой радетелей. Заметалась. Но рядом с ней — красавец молодой. Пир горой скоро надо начинать, жениха с невестой славить.

Все полузабылось в веселии. Мед тек, песни лились, хороводам, пляскам конца не было.

Зажила Настенька вместе с мужем своим, которого полюбила всей душой, ведь пробудил он ее от неведомого сна. Жили хорошо, ладно, но порой было у Настеньки на душе беспокойно, вставала она с постели, слова бормотала, и все оттого, что очень она этого сна испугалась. Память о нем в ужас ее вгоняла, хотя скрывала она это даже от мужа. И такой живой был этот ужас, что и обычному человеческому сну она не любила предаваться.

И вот однажды вышла она за дом цветы нарвать и вдруг слышит голос. Кровь как остановилась в ней, ибо поняла она, что голос этот слышала во время своего мертвого сна.

Замерла Настя, стоит и не смотрит, словно знает, что голос тот не из земного пространства.

И слышит она:

— Ты думаешь, что проснулась? Напрасно. Ты спишь еще более глубоким сном, чем раньше. Ты не пробудилась, а заснула во сне еще одним сном. Неужели ты не чувствуешь это?

Оглянулась она все-таки, побежала, за дерево схоронилась и вдруг поняла: правду говорит голос, в глубоком сне она, не было никакого пробуждения. Разве не сон все вокруг? Оттого что ярко он виден так, что ощущает она его, как явь, еще не значит, что — не сон это. «Живой сон еще страшнее мертвого; ибо и в голову не придет, что это лишь сновидение», — подумала Настенька.

И вышла на дорогу, за околицу. Значит, любовь не только не пробудила ее, а в еще больший сон погрузила? Холодно ей стало, смотрит на небо, на звезд

ды Настенька. Но страх перед сном, прежний, непонятный, сжал сердце, уже по-новому, с большей силой. И взмолилась тогда Настенька по-черному так, упав на колени посреди пустой дороги, чтобы освободили ее и пробудили от сна. И почудилось ей, что в душе ее смятенной ответ даже есть: боль, боль только одна может от сна пробудить. Встала Настенька, пошла обратно. На лес — в шорохах, в пении — и глаза не глядят: что на сон смотреть? А сама думает: от боли даже мертвые встают. Боль, боль — мое спасение!

Пришла домой, от мужа все скрывает, как будто жизнь это все, а не грёза. Он, счастливый, ничего не замечает. Прожили недели две: вдруг как гром посреди чистого сонного неба. Умирает молодой муж, красавец, как дуб подрубленный, быстро сгорел. Плачет, бьется Настенька, но только когда одна дома в темноте оказалась и боль великая объяла ее, поняла она, что это значит. Ведь получила она то, что хотела.

В горе таком прожила она много дней. Глаза высохли, губы затихли от одиночества. Никого и видеть не хочет. Одна около дома или в лесу бродит. Наконец сил совсем не осталось, бросила все и уехала далеко-далеко, в город.

Приютили ее добрые люди. Город был большой, шумный, но по вечерам затихал, и становилось в нем сумрачно и таинственно, как в деревне. Особенно на окраине, где и дома были, как деревенские.

Боль понемногу худеть стала. И вдруг чувствует Настенька, что переходит эта боль в настоящее откровение. И глубже раскрылись ее глаза, и видит и понимает она уже все по-другому. Увидела она ясно теперь, что и после пробуждения во сне еще была. Но сон тот блаженный был, весь радугой счастья озаренный, но спала сейчас пелена — и звезды, и небо, и город этот открылись ей во всех цветах бездны.

«Проснулась, проснулась я!» — всей душой своей подумала Настенька. На другой день словно чудо с ней произошло. Видит, все люди в этом городе ясны для нее стали, точно весь мир на ладошке лежит. Кому идет погадать — тому сразу отгадывает; кого полечить захочет — вылечивает. И стар и млад потянулись к Настеньке. «Ну вот, теперь я взаправду про-

снулась,— решила она.— И думается мне и легко и сильно. Пробудилась я! Прочь сны болотные!»

Народ к ней благоволил стал. Потому что много жизней она в воде судьбы увидела. Разбогатела, людей добрых, что приоткрыли ее, обула, одела по-настоящему. Сама одеваться стала — так одежда на ней и светится.

Цельный год прошел. Вдруг принесли ей больного мальчика. «Излечи, ты все видишь!» — бухнулись в ноги радетели. «Идите с Богом, а у ворот подождите, я поговорю с ним», — сказала Настя.

Мальчик этот был очень необычный, глаза как у кошки, но выражение человеческое. Только Настя разговор прочла, к силе своей обратилась, мальчик вдруг тихо подошел к ней и, положив руку, прикоснулся. А глаза невиданные, детские так и смотрят.

— Не надо, Настенька,— говорит он ей.— Не тебе лечить болезнь эту, ибо и не болезнь это вовсе.

И сразу слышит и чувствует Настенька, что все меняется и звучит уже не детский голос, а холодный далекий, который во всех ее снах звучал:

— В глубоком сне ты, Настя. Ты думаешь, что проснулась. Но ты в еще более страшный сон ушла. Что твои те два последних сна! Знаешь ты многое, но знание это только в сон тебя еще глубже погружает. Ибо и знание тоже сном бывает.

Вскрикнула Настенька, выбежала вон от ненавистного голоса. Дрожит вся. У ворот радетели глупые стоят, спрашивают. Но пробежала Настенька мимо них в глубь, в тьму, где лес начинался сразу за городом. И взмолилась опять: «Неужто не пробудилась я? Неужто я во сне еще живу? Сон во сне, и опять сон во сне, и так без конца? Кто же я, где же я?» И ответ какой-то метнулся в душе. И запело там все от музыки внутренней. «Света, света хочу! — закричала она.— Света небесного, неземного!»

И упал тут свет мгновенно, как струя, в душу ее, и озарилась она и возликовала: «Все вижу, все вижу везде и себя вижу! Встала я из тьмы! Проснулась!»

Но пожалел, видно, кто-то ее, из совсем неземных. Видит, белая девушка стоит рядом, очень похожая на нее, в русской одежде. Как вторая Настя. И улыбается. А тьмы нигде нет. И корона Небесной России сверкает на ней.

— Слушай, Настенька,— говорит девушка.— Изведешься ты. Совсем пропадешь. Не тот свет это, ибо и свет разный бывает. Не пробуждение это.

Девушка подошла поближе, сделала жест рукой. И вдруг почувствовала на мгновение Настенька, что означало бы, если б она в самом деле проснулась. Рухнул бы мир, как будто его и не было, со всем его умом, светом, бормотанием и откровением... Но что было бы вместо мира сего — в то не могла проникнуть Настенька даже на секунду. И славу Богу — что не могла, не для человеков это... Потом все прошло, опомнилась. Девушка по-прежнему рядом, на Настеньку смотрит.

— Иди, бедная, не мучайся,— сказала она и коснулась ее своей рукой.— Теперь ты знаешь... Иди, иди, ты очнешься в своей деревне, и она — не сон.

Все пропало в глазах Настеньки. Исчезло, точно в глубокую ночь провалилось. Долго ли, коротко такая тьма была, вдруг слышит она, голоса над ней раздаются. С трудом открывает Настя тяжелые веки и видит: лежит она в избе, на постели, а кругом нее деревенские ходят. Лица у всех озабоченные.

— Проснулась, проснулась! — кричат.

— Что, что со мной?! — спрашивает Настенька.

Лучшая подружка кинулась к ней.

— Настя, помнишь, мы в прятки играли?.. Потерялась ты... Потом из леса вышла, но сонная, как по луне шла... А теперь ты проснулась!

Не будем сказывать, как уладился такой необычный случай.

И наконец, прошло время — Настя счастливо зажила. Душенек-подружек еще крепче полюбила. Вместе песни новые сочинять стали, по лесу дремучему ходить, душу открывать. Только в прятки Настенька уже не хотела играть. А то спрячешься, действительно, Бог знает куда. Никто и не найдет.

СОДЕРЖАНИЕ

РАННИЕ РАССКАЗЫ

СЧАСТЬЕ	4
ВИСЕЛЬНИК	7
ДУШЕВНОБОЛЬНЫЕ БУДУЩЕГО	9
НЕПРИЯТНАЯ ИСТОРИЯ	12
ТОЛЬКО БЫ ВЫЖИТЬ	18
УЛЕТ	20
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ	23
БОРЕЦ ЗА СЧАСТЬЕ	25
СВОБОДА	27
СМЕРТЬ РЯДОМ С НАМИ (<i>Записки нехорошего человека</i>)	30
СЕРЕЖЕНЬКА	37
НЕЖНОСТЬ	41
КУРИНАЯ ТРАГЕДИЯ	46

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

ТЕТРАДЬ ИНДИВИДУАЛИСТА	49
ДНЕВНИК СОБАКИ-ФИЛОСОФА	67
ЖИВАЯ СМЕРТЬ	72
УПРАВДОМ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ	81
ГОРОДСКИЕ ДНИ	93
ДНЕВНИК МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА	99
ЯМА	105
ЧЕЛОВЕК С ЛОШАДИНЫМ БЕГОМ	114
ПОЛЕТ	118

ФОЛЬКЛОРНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

ГОЛУБОЙ	121
ЕРЕМА-ДУРАК И СМЕРТЬ (<i>Сказка</i>)	126
СОН В ЛЕСУ	133

Юрий Витальевич Мамлеев

ГОЛОС ИЗ НИЧТО

РАССКАЗЫ

Заведующая редакцией *С. Митрохина*
Редакторы *М. Романчук, Е. Чистякова*
Художественный редактор *И. Сайко*
Технический редактор *М. Гречнева*
Корректоры *Н. Кузнецова, Л. Царская*

ИБ № 4916

Сдано в набор 14.06.90. Подписано к печати 20.11.90. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ.
л. 7,56. Усл. кр.-отт. 8,19. Уч.-изд. л. 7,30. Тираж 50 000 экз. Заказ 980.
Цена 95 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий», 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

**В РЕДАКЦИИ «ЛИЦЕЙ НА ЧИСТЫХ ПРУДАХ»
В 1990 ГОДУ ВЫШЛИ КНИГИ**

АНДРЕЙ БОГОСЛОВСКИЙ. Живые

Эта книга об одной из малоизвестных сторон нашей действительности — об особом мире, нравах, быте работников морга, об их глубоком человеческом одиночестве.

АЛЕКСАНДР БОРОДИНЯ. Конструкции

Героем разных по жанру и стилю четырех повестей, составивших книгу, является современный, широко эрудированный, но духовно слабый молодой человек, который стремится реализоваться в жизни.

АНДРЕЙ БЫЧКОВ. Вниз — вверх

Это первая книга молодого прозаика. Его основная тема — нравственная борьба человека за самого себя, за право не потерять душу и чувство красоты мира. Яркий стиль автора, смелые сюжетные ходы помогают читателю по-новому взглянуть на проблемы нашего общества.

ИЛЬЯ КАСАВИН. Королевские войска

Книга рассказывает о «наследниках» строителей ГУЛАГа — вчерашних школьниках, зэках и очкастых студентах, ставших ныне солдатами стройбата, об их обидах и радостях, отчаянии и надеждах. И естественно возникает вопрос: по чьей вине исковерканы молодые судьбы?

ДМИТРИЙ ЛИХАНОВ. Прощай, Сирокко!

Наемные убийцы, игорный бизнес, террор московских рэкетиров, война между бандами и тайны преступного мира — темы и персонажи повести и документальных очерков, вошедших в книгу.

ВИКТОР ПОСОШКОВ. Супер

В сборник вошли рассказы, герои которых нам хорошо знакомы, близки и понятны их заботы, тревоги и хлопоты.

АРКАДИЙ САРЛЫК. Ухожу и остаюсь

При всей разнородности и разножанровости представленного в книге материала все здесь — об одном: о поиске человеческого достоинства и сострадания к ближнему, которые на протяжении нескольких поколений вытравливались в нашем соотечественнике.



*Издательство
Московский рабочий.*



«...Моей сверхзадачей в творчестве было раскрытие тех внутренних бездн, которые таятся в душе человека. Человек может не замечать их, но они рано или поздно проявляются — и в его поведении, и в его духовной жизни, и в его «подсознательных» страхах и надеждах...»